

ИГОРЬ  
ТУБЕРМАН



*Эта книга о жизни настоящих героев*

**Игорь Миронович Губерман**  
**Гарики из Иерусалима.**  
**Книга странствий (сборник)**

*Текст предоставлен издательством*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2553435](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2553435)

*Гарики из Иерусалима. Книга странствий (Авторский сборник) / Губерман И.М.: АСТ, Астрель;  
Москва, 2011*

*ISBN 978-5-17-073146-6, 978-5-271-34281-3*

**Аннотация**

Игорь Губерман – поэт, писатель и просто интересный человек, автор тех самых знаменитых «гариков».

«Гарики из Иерусалима» – четверостишия не только об Израиле, но и о России, не только о евреях, но и о русских; это гарики – о жизни, о мелочах...

«Книга странствий» – записки «не поверхностного туриста, а настоящего и заядлого путешественника», посмотревшего не меньше, «чем Дарвин, выдавший виды».

## Содержание

Гарики из Иерусалима	4
Первый иерусалимский дневник	4
Россию увидав на расстоянии, грустить перестаешь о расставании	4
Евреев от убогих до великих люблю не дрессированных, а диких	10
Высокого безделья ремесло меня от процветания спасло	17
В любви прекрасны и томление, и апогей, и утомление	26
Кто понял жизни смысл и толк, давно замкнулся и умолк	31
Увы, когда с годами стал я старше, со мною стали суше секретарши	39
Смеяться вовсе не грешно над тем, что вовсе не смешно	45
Брызги античности	52
Второй иерусалимский дневник	59
Россия для души и для ума – как первая любовь и как тюрьма	59
Храпит и яростно дрожит казачий конь при слове «жид»	65
Увы, подковой счастья моего кого-то подковали не того	72
Божественность любовного томления – источник умноженья населения	80
Наш дух бывает в жизни искушен не раньше, чем невинности лишен	89
Улучшить человека невозможно, и мы великолепны безнадежно	99
В органах слабость, за коликой спазм, старость не радость, маразм не оргазм	109
Усовершенствуя плоды любимых дум, косится набекрень печальный ум	119
Третий иерусалимский дневник	129
Все, конечно, мы братья по разуму, только очень какому- то разному	129
Поскольку истина – в вине, то часть ее уже во мне	137
Любви все возрасты покорны, ее порывы – рукотворны	145
Слишком я люблю друзей моих, чтобы слишком часто видеть их	156
В нас очень остро чувство долга, мы просто чувствуем недолго	167
Чем я грустней и чем старей, тем и видней, что я еврей	175
Ни за какую в жизни мзду нельзя душе влезать в узду	182
На свете ничего нет постоянной превратностей, потерь и расставаний	193
Книга странствий	202
Очень короткое, но нужное начало	202
Конец ознакомительного фрагмента.	206

# Игорь Губерман Гарики из Иерусалима. Книга странствий (сборник)

## Гарики из Иерусалима

### Первый иерусалимский дневник

*Саше Окуню – очень старшему другу с любовью*

*В эту землю я врос окончательно,  
я мечту воплотил наяву,  
и теперь я живу замечательно,  
но сюда никого не зову.*

### Россию увидав на расстоянии, грустить перестаешь о расставании

Изгнанник с каторжным клеймом,  
отъехал вдаль я одиноко,  
за то, что нагло был бельмом  
в глазу всевидящего ока.

Еврею не резвиться на Руси  
и воду не толочь в российской ступе;  
тот волос, на котором он висит,  
у русского народа – волос в супе.

Забавно, что томит меня и мучает  
нехватка в нашей жизни эмигрантской  
отравного, зловонного, могучего  
дыхания империи гигантской.

Бог лежит больной, окинув глазом  
дикие российские дела,  
где идея вывихнула разум  
и, залившись кровью, умерла.

С утра до тьмы Россия на уме,  
а ночью – боль участия и долга;  
не важно, что родился я в тюрьме,

а важно, что я жил там очень долго.

Да, порочен дух моей любви,  
но не в силах прошлое проклясть я,  
есть у рабства прелести свои  
и свои восторги сладострастья.

Вожди России свой народ  
во имя чести и морали  
опять зовут идти вперед,  
а где перед, опять соврали.

Когда идет пора крушения структур,  
в любое время всюду при развязках  
у смертного одра империй и культур  
стоят евреи в траурных повязках.

Ах, как бы нам за наши штуки  
платить по счету не пришлось!  
Еврей! Как много в этом звуке  
для сердца русского слилось!

Устроил с ясным умыслом Всевышний  
в нас родственное сходство со скотом:  
когда народ безмолвствует излишне,  
то дух его зловонствует потом.

Люблю российский спор подлунный,  
его цитат бенгальский пламень,  
его идей узор чугунный,  
его судеб могильный камень.

Ранним утром. Душной ночью.  
Вдруг в ответ на чей-то взгляд...  
Вырвал корни я из почвы,  
и они по ней болят.

Прав еврей, что успевает  
на любые поезда,  
но в России не свивает  
долговечного гнезда.

Я хотел бы прожить много лет  
и услышать в часы, когда пью,  
что в стране, где давно меня нет,  
кто-то строчку услышал мою.

Вдовцы Ахматовой и вдовы Мандельштама —  
бесчисленны. Душой неколебим,

любой из них был рыцарь, конь и дама,  
и каждый был особенно любим.

Мне вновь напомнила мимоза  
своей прозрачной желтизной,  
что в сердце всажена заноза  
российской слякотной весной.

В русском таланте ценю я сноровку  
злобу менять на припляс:  
в доме повешенных судят веревку  
те же, что вешали нас.

В России сейчас от угла до угла  
бормочет Россия казенная  
про то, что Россию спасти бы могла  
Россия, оплошно казенная.

В те трудные дни был открыт  
мне силы и света источник,  
когда я почувствовал стыд  
и выпрямил свой позвоночник.

В любви и смерти находя  
неисчерпаемую тему,  
я не плевал в портрет вождя,  
поскольку клал на всю систему.

Из русских событий пронзительный вывод  
взывает к рассудкам носатым:  
в еврейской истории русский период  
кончается веком двадцатым.

Россию покидают иудеи,  
что очень своевременно и честно,  
чтоб собственной закваски прохиндеи  
заполнили оставшееся место.

Россия извелась, пока давала  
грядущим поколениям людей  
урок монументального провала  
искусственно внедряемых идей.

Как бы ни слабели год от года  
тьма и духота над отчим домом,  
подлинная русская свобода  
будет обозначена погромом.

Пронизано русское лето

миазмами русской зимы;  
в российских ревнителях света  
спят гены строителей тьмы.

Чтоб русское разрушить государство —  
куда вокруг себя ни посмотри, —  
евреи в целях подлого коварства  
Россию окружают изнутри.

Не верю в разум коллективный  
с его соборной головой:  
в ней правит бал дурак активный  
или мерзавец волевой.

В России жил я, как трава,  
и меж такими же другими,  
сполна имея все права  
без права пользоваться ими.

Не зря тонули мы в крови,  
не зря мы жили так убого,  
нет ни отваги, ни любви  
у тех, кого лишили Бога.

Лихие русские года  
плели узор искусной пряжи,  
где подо льдом текла вода  
и мертвым льдом была она же.

Весело на русский карнавал  
было бы явиться нам сейчас:  
те, кто нас душил и убивал,  
пишут, что они простили нас.

Злая смута у России впереди:  
все разъято, исковеркано, разрыто,  
и толпятся удрученные вожди  
у гигантского разбитого корыта.

Когда вдруг рухнули святыни  
и обнажилось их уродство,  
душа скитается в пустыне,  
изнемогая от сиротства.

На кухне или на лесоповале,  
куда бы судьбы нас ни заносили,  
мы все о том же самом толковали:  
о Боге, о евреях, о России.

Россия ждет, мечту лелея  
о дивной новости одной:  
что наконец нашли еврея,  
который был всему виной.

Хоть сотрись даже след от обломков  
дикой власти, где харя на рыле,  
все равно мы себя у потомков  
несмываемой славой покрыли.

Ручей из русских берегов,  
типаж российской мелодрамы,  
лишась понятных мне врагов,  
я стал нелеп, как бюст без дамы.

Я разными страстями был испытан,  
но главное из посланного Богом —  
я в рабстве у животных был воспитан,  
поэтому я Маугли во многом.

Российскую власть обещенной  
мы видим и сильно потоптанной,  
теперь уже страшно, что женщиной  
она будет мерзкой и опытной.

Нельзя не заметить, что в ходе истории,  
ведущей народы вразброд,  
евреи свое государство – построили,  
а русское – наоборот.

Едва утихомирится разбой,  
немедля разгорается острей  
извечный спор славян между собой —  
откуда среди них и кто еврей.

Я снял с себя российские вериги,  
в еврейской я сижу теперь парилке,  
но, даже возвратясь к народу Книги,  
по-прежнему люблю народ Буылки.

В автобусе, не слыша языка,  
я чую земляка наверняка:  
лишь русское еврейское дыхание  
похмельное струит благоухание.

Приемлю, не тоскуя и не плачась,  
древнейшее из наших испытаний —  
усушку и утреску наших качеств  
от наших переездов и скитаний.

Не в том печаль, что век не вечен,  
об этом лучше помолчим,  
а в том, что дух наш изувечен  
и что уже неизлечим.

В любое окошко, к любому крыльцу,  
где даже не ждут и не просят,  
российского духа живую пыльцу  
по миру евреи разносят.

Везде все время ходит в разном виде,  
мелькая между стульев и диванов,  
народных упований жрец и лидер  
Адольф Виссарионович Ульянов.

Не дикому природному раздолью,  
где края нет лесам и косогорам,  
а тесному кухонному застолию  
душа моя обязана простором.

За все России я обязан —  
за дух, за свет, за вкус беды,  
к России так я был привязан —  
вдоль шеи тянутся следы.

Много у Ленина сказано в масть,  
многие мысли частично верны,  
и коммунизм есть советская власть  
плюс эмиграция всей страны.

На почве, удобренной злобой бесплодной,  
увял даже речи таинственный мускул:  
великий, могучий, правдивый, свободный  
стал постным, унылым, холодным и тусклым.

Я б хотел, чтоб от зоркого взора  
изучателей русских начал  
не укрылась та доля позора,  
что ложится на всех, кто молчал.

У того, кто родился в тюрьме  
и достаточно знает о страхе,  
чувство страха живет не в уме,  
а в душе, селезенке и пахе.

Я Россию часто вспоминаю,  
думая о давнем дорогом,  
я другой такой страны не знаю,

где так вольно, смиренно и кругом.

Забавно мы все-таки жили:  
свой дух в чистоте содержали  
и с истовой честью служили  
неправедной грязной державе.

Такой же, как наша, не сыщешь на свете  
ранимой и прочной душевной фактуры,  
двух родин великих мы блудные дети:  
еврейской земли и российской культуры.

Оставив золу крематорию  
и в путь собирая семью,  
евреи увозят историю  
будущую свою.

Я там любил, я там сидел в тюрьме,  
по шатким и гнилым ходил мостам,  
и брюки были вечно в бахроме,  
и лучшие года остались там.

## **Евреев от убогих до великих люблю не дрессированных, а диких**

Был, как обморок, переезд,  
но душа отошла в тепле,  
и теперь я свой русский крест  
по еврейской несу земле.

Здесь мое исконное пространство,  
здесь я гармоничен как нигде,  
здесь еврей, оставив чужестранство,  
мутит воду в собственной среде.

В отъезды кинувшись поспешно,  
евреи вдруг соображают,  
что обрусели так успешно,  
что их евреи раздражают.

За российский утерянный рай  
пьют евреи, устроив уют,  
и, забыв про набитый трамвай,  
о графинях и тройках поют.

Евреи, которые планов полны,  
становятся много богаче,

умело торгуя то светом луны,  
то запахом легкой удачи.

Еврейский дух слезой просолен,  
душа хронически болит;  
еврей, который всем доволен, —  
покойник или инвалид.

Каждый день я толкусь у дверей,  
за которыми есть кабинет,  
где сидит симпатичный еврей  
и дает бесполезный совет.

Умельцы выходов и входов,  
настырны, вьедливы и притки,  
евреи есть у всех народов,  
а у еврейского – в избытке.

Чтоб несогласие сразить  
и несогласные закисли,  
еврей умеет возразить  
еще не высказанной мысли.

Да, Запад есть Запад,  
Восток есть Восток,  
у каждого собственный запах,  
и носом к Востоку  
еврей свой росток  
стыдливо увозит на Запад.

В мире много идей и затей,  
но вовек не случится в истории,  
чтоб мужчины рожали детей,  
а евреи друг с другом не спорили.

Смотрю на наше поколение  
и с восхищеньем узнаю  
еврея вечное стремление  
просрать историю свою.

В мире лишь еврею одному  
часто удается так пожить,  
чтоб не есть свинину самому  
и свинью другому подложить.

Не внемлет голосу погоды  
упрямый ген в упорном семени:  
терпя обиды и невзгоды,  
еврей блаженствует в рассеяньи.

Мир наполнили толпы людей,  
перенесших дыханье чумы,  
инвалиды высоких идей,  
зараженные духом тюрьмы.

Живу я легко и беспечно,  
хотя уже склонен к мыслишкам,  
что все мы евреи, конечно,  
но некоторые – слишком.

За мудрость, растворенную в народе,  
за пластику житейских поворотов  
евреи платят матери-природе  
обилием кромешных идиотов.

Земля моих великих праотцов  
полна умов нешибкого пошиба,  
и я среди галдящих мудрецов  
молчу, как фаршированная рыба.

Душу наблюдениями грея,  
начал разбираться в нашем вкусе я:  
жанровая родина еврея —  
всюду, где торговля и дискуссия.

Слились две несовместных природы  
под покровом израильской кровли:  
инвалиды российской культуры  
с партизанами русской торговли.

Я счастлив, что жив и неистов  
тяжелый моральный урод —  
мой пакостный, шустрый, корыстный,  
настырно живучий народ.

Еврей не каждый виноват,  
что он еврей на белом свете,  
но у него возможен брат,  
а за него еврей в ответе.

Евреев тянет все подвигать  
и улучшению подвергнуть,  
и надо вовремя их выгнать,  
чтоб неприятностей избегнуть.

Не терпит еврейская страстность  
елейного меда растления:  
еврею вредна безопасность,

покой и любовь населения.

Как ни скрывался в чуждой вере,  
у всех народов и времен  
еврей заочно к высшей мере  
всегда бывал приговорен.

Особенный знак на себе мы несем,  
всевластной руки своеволие,  
поскольку евреи виновны во всем,  
а в чем не виновны – тем более.

Под пятой у любой системы —  
очень важно заметить это —  
возводили мы сами стены  
наших тесных и гиблых гетто.

Нельзя, когда в душе разброд,  
чтоб дух темнел и чах;  
не должен быть уныл народ,  
который жгли в печах.

Спеша кто куда из-под бешеной власти,  
евреи разъехались круто,  
чем очень и очень довольны. А счастье —  
оно не пришло почему-то.

Евреи знали унижение  
под игом тьмы поработителей,  
но, потерпевши поражение,  
переживали победителей.

Варясь в густой еврейской каше,  
смотрю вокруг, угрюм и тих:  
кишмя кишат сплошные наши,  
но мало подлинно своих.

Пустившись по белому свету,  
готовый к любой неизвестности,  
еврей заселяет планету,  
меняясь по образу местности.

Мне одна догадка душу точит,  
вижу ее правильность везде:  
каждый, кто живет не там, где хочет,  
вреден окружающей среде.

Навеки предан я загадочной стране,  
где тени древние теснятся к изголовью,

а чувства – разные полощутся во мне:  
люблю евреев я, но странною любовью.

Что изнутри заметно нам,  
отлично видно и снаружи:  
еврей абстрактный – стыд и срам,  
еврей конкретный – много хуже.

Еврей весь мир готов обнять,  
того же требуя обратно:  
умом еврея не понять,  
а чувством это неприятно.

Во все разломы, щели, трещины  
проблем, событий и идей,  
терпя то ругань, то затрещины,  
азартно лезет иудей.

Растут растенья, плещут воды,  
на ветках мечутся мартышки,  
еврей в объятиях свободы  
хрипит и просит передышки.

Антисемит похож на дам,  
которых кормит нежный труд:  
от нелюбви своей к жидам  
они дороже с нас берут.

Всегда еврей гоним или опален  
и с гибелью тугим повит узлом,  
поэтому бесспорно уникален  
наш опыт обращения со злом.

Заоблачные манят эмпиреи  
еврейские мечтательные взгляды,  
и больно ушибаются евреи  
о каменной реальности преграды.

Много сочной заграничной русской прессы  
я читаю, наслаждаясь и дуряя;  
можно выставить еврея из Одессы,  
но не вытравить Одессу из еврея.

Тем людям, что с рожденья здесь растут, —  
им чужды наши качества и свойства;  
похоже, не рассеется и тут  
витающий над нами дух изгойства.

В жизненных делах я непрактичен,

мне азарт и риск не по плечу,  
даже как еврей я нетипичен:  
если что не знаю, то молчу.

Еврейского характера загадочность  
не гений совместила со злодейством,  
а жертвенно-хрустальную порядочность  
с таким же неумным прохиндейством.

Мы Богу молимся, наверно,  
затем так яростно и хрипло,  
что жизни пакостная скверна  
на нас особенно налипла.

Скитались не зря мы со скрипкой в руках:  
на землях, евреями пройденных,  
поют и бормочут на всех языках  
еврейские песни о родинах.

В еврейском гомоне и гаме  
отрадно жить на склоне лет,  
и даже нет проблем с деньгами,  
поскольку просто денег нет.

Я антисемит, признаться честно,  
ибо я лишен самодовольства  
и в евреях вижу повсеместно  
собственные низменные свойства.

Еврейского разума имя и суть —  
бродяга, беглец и изгой:  
еврей, выбираясь на правильный путь,  
немедленно ищет другой.

Чуть выросли – счастья  
в пространстве кипучем  
искать устремляются тут же  
все рыбы – где глубже,  
все люди – где лучше,  
евреи – где лучше и глубже.

Катаясь на российской карусели,  
наевшись русской мудрости плодов,  
евреи столь изрядно обрусели,  
что всюду видят происки жидов.

Еврей живет, как будто рос,  
не зная злобы и неволи:  
сперва сует повсюду нос

и лишь потом кричит от боли.

Велик и мелок мой народец,  
един и в грязи, и в элите,  
я кровь от крови инородец  
в его нестойком монолите.

Евреям доверяют не вполне  
и в космос не пускают, слава Богу;  
евреи, оказавшись на Луне,  
устроят и базар, и синагогу.

Шепну я даже в миг, когда на грудь  
уложат мне кладбищенские плиты:  
женитьба на еврейке – лучший путь  
к удаче, за рубеж, в антисемиты.

На развалинах Древнего Рима  
я сажу и курю не спеша,  
над руинами веет незримо  
отлетевшая чья-то душа.

Под небом, безмятежно голубым,  
спит серый Колизей порой вечерней;  
мой предок на арене этой был  
зарезан на потеху римской черни.

Римские руины – дух и мрамор,  
тихо дремлет вечность в монолите;  
здесь я, как усердный дикий варвар,  
выцарапал имя на иврите.

В убогом притворе, где тесно плечу  
и дряхлые дремлют скамейки,  
я Деве Марии поставил свечу —  
несчастнейшей в мире еврейке.

Из Рима видней (как теперь отовсюду,  
хоть жизнь моя там нелегка)  
тот город, который я если забуду —  
отсохнет моя рука.

Я скроюсь в песках Иудейской пустыни  
на кладбище плоском, просторном и нищем  
и чувствовать стану костями пустыми,  
как ветер истории поверху свищет.

Вон тот когда-то пел как соловей,  
а этот был невинная овечка,

а я и в прошлой жизни был еврей —  
отпетый наглый нищий из местечка.

Знаешь, поразительно близка мне  
почва эта с каменными стенами:  
мы, должно быть, помним эти камни  
нашими таинственными генами.

Я счастлив, что в посмертной вечной мгле,  
посмертном бытии непознаваемом,  
в навеки любимейшей земле  
я стану бесполезным ископаемым.

## **Высокого безделья ремесло меня от процветания спасло**

Как пробка из шампанского – со свистом  
я вылетел в иное бытие,  
с упрямостью храня в пути тернистом  
шампанское дыхание свое.

Я живой и пока не готов умирать.  
Я свободу обрел. Надо путь избирать.  
А повсюду стоят, как большие гробы,  
типовые проекты удачной судьбы.

Я тем, что жив и пью вино,  
свою победу торжествую:  
я мыслил, следовательно, но  
я существую.

В час важнейшего в жизни открытия  
мне открылось, гордыню гоня,  
что текущие в мире события  
превосходно текут без меня.

Время щиплет незримые струны,  
и звучу я, покуда не сгину,  
дни мелькают, как пятки фортуны,  
а с утра она дышит мне в спину.

За то и люблю я напитки густые,  
что, с губельной вечностью в споре,  
набитые словом бутылки пустые  
кидаю в житейское море.

Я нужен был и близок людям разным,  
поскольку даром дружбы одарен,

хотя своим устройством несуразным  
к изгнанию в себя приговорен.

Всегда у мысли есть ценитель,  
я всюду слышу много лет:  
вы – выдающийся мыслитель,  
но в нашей кассе денег нет.

Решать я даже в детстве не мечтал  
задачи из житейского задачника,  
я книги с упоением читал,  
готовясь для карьеры неудачника.

Я в сортир когда иду среди ночи,  
то плетется мой Пегас по пятам,  
ибо дух, который веет, где хочет,  
посещает меня именно там.

Моя малейшая затея  
душе врага всегда была  
свежа, как печень Прометея  
глазам голодного орла.

Видно только с горних высей,  
видно только с облаков:  
даже в мире мудрых мыслей  
бродит уйма мудаков.

В этой мутной с просветами темени,  
непостижной душе и уму,  
я герой, но не нашего времени,  
а какого – уже не пойму.

Я живу, в суете мельтеша,  
а за этими корчами спешки  
изнутри наблюдает душа,  
не скрывая обидной усмешки.

Я пристегнут цепью и замком  
к речи, мне с рождения родной:  
я владею русским языком  
менее, чем он владеет мной.

С утра нужна щепотка слов,  
пощекотавших ум и слух,  
чтоб ожил чуткий кайфолов,  
согрелся жить мой грустный дух.

Ум так же упростить себя бессилён,

как воля перед фатумом слаба,  
чем больше в голове у нас извилин,  
тем более извилиста судьба.

Очень много во мне плебейства,  
я ругаюсь нехорошо,  
и меня не зовут в семейства,  
куда сам бы я хер пошел.

Что в жизни вреднее тоски и печали?  
За многое множество прожитых дней  
немало печальников мы повстречали —  
они отравлялись печалью своей.

Мы бестрепетно выносим на свет  
и выплескиваем в зрительный зал  
то, что Бог нам сообщил как секрет,  
но кому не говорить – не сказал.

Каждый, в ком играет Божья искра,  
ясно различим издалика,  
и когда игра не бескорыстна,  
очень ей цена невелика.

Добру и злу внимая равнодушно,  
и в жертвах побывал я, и в героях,  
обоим поперек и непослушно  
я жил и натерпелся от обоих.

Живу привольно и кудряво,  
поскольку резво и упрямо  
хожу налево и направо  
везде, где умный ходит прямо.

Моей судьбы кривая линия  
была крута, но и тогда  
я не кидался в грех уныния  
и блуд постылого труда.

Очень давит меня иногда  
тяжкий груз повседневного долга,  
но укрыться я знаю куда  
и в себя ухожу ненадолго.

Я люблю, когда слов бахрома  
золотится на мыслях тугих,  
а молчание – признак ума,  
если признаков нету других.

Именно поэты и шуты  
в рубище цветастом и убогом —  
те слоны, атланты и киты,  
что планету держат перед Богом.

Я счастлив ночью окунуться  
во все, что вижу я во сне,  
и в тот же миг стремлюсь проснуться,  
когда реальность снится мне.

На свободе мне жить непривычно  
после долгих невольничьих лет,  
а улыбка свободы цинична,  
и в дыхании жалости нет.

Много всякого на белом видя свете  
в жизни разных городов и деревень,  
ничего на белом свете я не встретил  
хитроумней и настойчивей, чем лень.

Не стоит и расписывать подробней,  
что личная упрямая тропа  
естественно скудней и неудобней  
проспекта, где колышется толпа.

Как ни богато естество,  
играющее в нас,  
необходимо мастерство,  
гранящее алмаз.

На вялом и снулом проснувшемся рынке,  
где чисто, и пусто, и цвета игра,  
душа моя бьется в немом поединке  
с угрюмым желанием выпить с утра.

Живу, куря дурное зелье,  
держу бутылку во тьме серванта,  
сменив российское безделье  
на лень беспечного Леванта.

Где надо капнуть — я плесну,  
мне день любой — для пира дата,  
я столько праздновал весну,  
что лето кануло куда-то.

Нисколько сам не мысля в высшем смысле,  
слежу я сквозь умильную слезу,  
как сутками высиживают мысли  
мыслители, широкие в тазу.

Неявная симпатия к подонкам,  
которая всегда жила во мне,  
свидетельствует, кажется, о тонком  
созвучии в душевной глубине.

О том, что потеряли сгоряча,  
впоследствии приходится грустить;  
напрасно я ищу себе врача,  
зуб мудрости надеясь отрастить.

Когда я спешу, суечусь и сную,  
то словно живу на вокзале  
и жизнь проживаю совсем не свою,  
а чью-то, что мне навязали.

Я даже в течение дня  
клонюсь то к добру, то ко злу,  
и правы, кто хвалит меня,  
и правы, кто брызжет хулу.

Рифмуя слова, что сказались другими, —  
ничуть не стесняюсь, отнюдь не стыжусь:  
они просто были исконно моими  
и преданно ждали, пока я рожусь.

Эстетам ревностным и строгим  
я дик и низок. Но по слухам —  
любезен бедным и убогим,  
полезен душам нищих духом.

Я проделал по жизни немало дорог,  
на любой соглашался маршрут,  
но всегда и повсюду, насколько я мог,  
уклонялся от права на труд.

Я, Господи, умом и телом стар;  
я, Господи, гуляка и бездельник;  
я, Господи, прошу немного в дар —  
еще одну субботу в понедельник.

Для всех распахнут и ничей,  
судьба насквозь видна,  
живу прозрачно, как ручей,  
в котором нету дна.

Явились мысли – запиши,  
но прежде – сплюнь слегка  
слова, что первыми пришли

на кончик языка.

Я должен признаться, стыдясь и робея,  
что с римским плебеем я мыслю похоже,  
что я всей душой понимаю плебея,  
что хлеба и зрелищ мне хочется тоже.

Доволен я и хлебом, и вином,  
и тем, что не чрезмерно обветшал,  
и если хлопочу, то об одном —  
чтоб жизнь мою никто не улучшал.

Мне власть нужна, как рыбе – серьги,  
в делах успех, как зайцу – речь,  
я слишком беден, чтобы деньги  
любить, лелеять и беречь.

Кругом кипит азарт, и дух его  
меня ласкает жаром по плечу;  
за то, что мне не надо ничего,  
я дорого и с радостью плачу.

Своих печалей не миную,  
сполна приемлю свой удел:  
ведь, получив судьбу иную,  
я б тут же третью захотел.

Изрядно век нам нервы потрепал,  
но столького с трухой напололам  
напел, наплел, навеял, нашептал,  
что этого до смерти хватит нам.

Я живу ожиданьем волнения,  
что является в душу мою,  
а следы своего вдохновения  
с наслажденьем потом продаю.

В толпе не теснюсь я вперед,  
ютясь молчаливо и с краю:  
я искренне верю в народ,  
но слабо ему доверяю.

В сужденьях о поэте много значит,  
как хочет он у Бога быть услышан;  
кто более величественно плачет,  
тот кажется нам более возвышен.

Мне все беспечное и птичье  
милее прочего всего,

ведь и богатство – не наличие,  
а ощущение его.

С утра теснятся мелкие заботы,  
с утра хандра и лень одолевают,  
а к вечеру готов я для работы,  
но рядом уже рюмки наливают.

Свободой дни мои продля,  
Господь не снял забот,  
и я теперь свободен для,  
но не свободен от.

Когда мы глухо спим и домочадцы  
теряют с нами будничную связь,  
из генов наших образы сочатся,  
духовной нашей плотью становясь.

В людской активности кипящей  
мне часто видится печально  
упрямство курицы, сидящей  
на яйцах, тухлых изначально.

Что я преступно много сплю,  
с годами стало очевидно,  
и мне за то, что спать люблю,  
порой во сне бывает стыдно.

Блажен, кого тешит затея  
и манит огнями дорога;  
талант – сочиняет, потея,  
а гений – ворует у Бога.

Мой разум, тусклый и дремучий,  
с утра трепещет, как струна:  
вокруг витают мысли тучи,  
но не садится ни одна.

За все благодарю тебя, судьба,  
особенно – за счастье глаз и слуха,  
которое мне дарит голытьба  
ремесленного творческого духа.

Вся жизнь моя прошла в плену  
у переменчивого нрава:  
коня я влево поверну,  
а сам легко скачу направо.

Внезапное точное слово

случайно прочтешь у поэта —  
и мир озаряется снова  
потоками теплого света.

Я раздражал собой не всякого,  
но многих — я не соответствовал  
им тем, что жил не одинаково  
с людьми, с которыми соседствовал.

Вокруг меня все так умны,  
так образованны научно,  
и так сидят на них штаны,  
что мне то тягостно, то скучно.

Я жил почти достойно, видит Бог:  
я в меру был пуглив и в меру смел;  
а то, что я сказал не все, что мог,  
то, видит Блок, я больше не сумел.

На крыльях летал, колесил на колесах,  
изведал и книжный, и каторжный труд,  
но старой мечте — опереться на посох —  
по-прежнему верен и знаю маршрут.

За много лет познав себя до точки,  
сегодня я уверен лишь в одном:  
когда я капля дегтя в некой бочке —  
не с медом эта бочка, а с гавном.

Я думаю, нежась в постели,  
что глупо спешить за верстак:  
заботиться надо о теле,  
а души бессмертны и так.

Люблю людей и по наивности  
открыто с ними говорю  
и жду распахнутой взаимности,  
а после горестно курю.

Благое и правое дело  
я делал в часы, когда пил,  
смеялся над тем, что болело,  
и даже над тем, что любил.

Я смущен не шумихой и давкой,  
а лишь тем, что повсюду окрест  
пахнет рынком, базаром и лавкой  
атмосфера общественных мест.

В сей жизни краткой не однажды  
бывал я счастлив оттого,  
что мне важнее чувство жажды,  
чем утоление его.

Души моей ваянию и зодчеству  
полезны и тоска, и неуют:  
большой специалист по одиночеству,  
я знаю, с чем едят его и пьют.

Гуляка, прощелыга и балбес,  
к возвышенному был я слеп и глух,  
друзья мои – глумливый русский бес  
и ереси еврейской шалый дух.

Среди уже несчетных дней  
при людях и наедине  
запомнил я всего сильней  
слова, не сказанные мне.

Никого научить не хочу  
я сухой правоте безразличной,  
ибо собственный разум точу  
на хронической глупости личной.

Судьба моя стоит на перекрестке  
и смотрит, как нахохленная птица;  
отпетой и заядлой вертихвостке  
в покое не сидится и не спится.

Что угодно с неподдельным огнем  
я отстаиваю в споре крутом,  
ибо только настояв на своем,  
понимаю, что стоял не на том.

Живя в душевном равновесии  
и непреклонном своеволии,  
меж эйфорией и депрессией  
держусь высокой меланхолии.

Не рос я ни Сократом, ни Спинозой,  
а рос я – огорчением родителей  
и сделался докучливой занозой  
в заду у моралистов и блюстителей.

Мне с самим собой любую встречу  
стало тяжело переносить:  
в зеркале себя едва замечу —  
хочется автограф попросить.

Стал я слишком поздно понимать,  
как бы пригодилось мне умение  
жаловаться, плакать и стонать,  
радуя общественное мнение.

От метаний, блужданий, сумбурности  
дарит возраст покой постоянства,  
и на черепе холм авантюриности  
ужимается в шишку мещанства.

Ни мыслей нет, ни сил, ни денег.  
И ночь, и с куревом беда.  
А после смерти душу денет  
Господь неведомо куда.

Успех мой в этой жизни так умерен,  
что вряд ли она слишком удалась,  
но будущий мой жребий – я уверен —  
прекрасен, как мечта, что не сбылась.

## **В любви прекрасны и томление, и апогей, и утомление**

Природа тянет нас на ложе,  
судьба об этом же хлопочет,  
мужик без бабы жить не может,  
а баба – может, но не хочет.

Мы счастье в мире умножаем  
(а злу – позор и панихида),  
мы смерти дерзко возражаем,  
творя обряд продленья вида.

В любви на равных ум и сила,  
душевной требуют сноровки  
затеи пластики и пыла,  
любви блаженные уловки.

В политике – тайфун, торнадо, вьюга,  
метель и ожиданье рукопашной;  
смотреть, как раздевается подруга,  
на фоне этом радостно и страшно.

Есть женщины, познавшие с печалью,  
что проще уступить, чем отказаться,  
они к себе мужчин пускают в спальню  
из жалости и чтобы отвязаться.

Люблю, с друзьями стол деля,  
поймать тот миг, на миг очнувшись,  
когда окрестная земля  
собралась плыть, слегка качнувшись.

Он даму держал на коленях,  
и тяжело дышалось ему,  
есть женщины в русских селеньях —  
не по плечу одному.

Едва смежает сон твои ресницы —  
ты мечешься, волнуешься, кипишь,  
а что тебе на самом деле снится,  
я знаю, ибо знаю, с кем ты спишь.

Мы пружины не знаем свои,  
мы не ведаем, чем дорожить,  
а минуты вчерашней любви  
помогают нам день пережить.

И дух, и плоть у дам играют,  
когда, посплетничать зайдя,  
они подруг перебирают,  
гавно сиропом разводя.

Я не люблю провинциалок —  
жеманных жестов, постных лиц;  
от вялых страхов сух и жалок  
любовный их Аустерлиц.

Встречаясь с дамой тет-а-тет,  
теряешь к даме пиетет.

Мы заняты делом отличным,  
нас тешит и греет оно,  
и ангел на доме публичном  
завистливо смотрит в окно.

Мужик тугим узлом совется,  
но если пламя в нем клокочет,  
всегда от женщины добьется  
того, что женщина захочет.

Блажен, кому достался мудрый разум,  
такому все легко и задарма,  
а нам осталась радость, что ни разу  
не мучались от горя от ума.

В силу разных невнятных причин,  
вопреки и хуле, и насмешке  
очень женщины любят мужчин,  
равнодушных к успеху и спешке.

Люблю величавых застольных мужей —  
они, как солдаты в бою,  
и в сабельном блеске столовых ножей  
вершат непреклонность свою.

С каждым годом жить мне интересней,  
прочно мой фундамент в почву врыт,  
каждый день я радуюсь, как песне,  
оклику, что стол уже накрыт.

Под пение прельстительных романсов  
красотки улыбаются спесиво;  
у женщины красивой больше шансов  
на счастье быть обманутой красиво.

Чисто элегическое духа опущение  
мы в конце недели рюмкой лечим,  
истинно трагическое мироощущение  
требует бутылки каждый вечер.

Чтобы сделались щеки румяней  
и видней очертания глаз,  
наши женщины, как мусульмане,  
совершают вечерний намаз.

На закате в суете скоротечной  
искра света вдруг нечаянно брызги —  
возникает в нас от женщины встречной  
ощущение непрожитой жизни.

Болит, свербит моя душа,  
сменяя страсти воздержанием;  
невинность формой хороша,  
а грех прекрасен содержанием.

Женившись, мы ничуть не губим  
себя для радостей земных,  
и мы жену тем больше любим,  
чем больше любим дам иных.

Я прошел и закончил достаточно школ,  
но, переча солидным годам,  
за случайный и краткий азарта укол  
я по-прежнему много отдам.

По-моему, Господь весьма жесток  
и вовсе не со всеми всеблагой:  
порядочности крохотный росток  
во мне он растоптал моей ногой.

Женщину глазами провожая,  
вертим головой мы неслучайно:  
в женщине, когда она чужая,  
некая загадка есть и тайна.

В сезонных циклах я всегда  
ценил игру из соблюдения:  
зима – для пьянства и труда,  
а лето – для грехопадения.

Что я смолоду делал в России?  
Я запнусь и ответа на дам,  
ибо много и лет, и усилий  
положил на покладистых дам.

Живое чувство, искры спора,  
игры шальные ощущения...  
Любовь – продленье разговора  
иными средствами общения.

Я устал. Надоели дети,  
бабы, водка и пироги.  
Что же держит меня на свете?  
Чувство юмора и долги.

Но чья она, первейшая вина,  
что жить мы не умеем без вина?  
Того, кто виноградник сочинил  
и ягоду блаженством начинил.

Мужчина должен жить, не суетясь,  
а мудрому предавшись разгильдяйству,  
чтоб женщина, с работы возвратясь,  
спокойно отдыхала по хозяйству.

С неуклонностью упрямой  
все на свете своевременно;  
чем невинней дружба с дамой,  
тем быстрее она беременна.

В мечтах отныне стать серьезней,  
коплю серьезность я с утра,  
печально видя ночью поздней,

что где-то есть во мне дыра.

Когда роман излишне длителен,  
то удручающе типичен,  
роман быть должен упоителен  
и безупречно лаконичен.

Соблазнов я ничуть не избегал,  
был страстью обуян периодически  
и в пламени любви изнемогал  
все время то душевно, то физически.

Не первопроходец и не пионер,  
пути не нашел я из круга,  
по жизни вели меня разум и хер,  
а также душа, их подруга.

Я знаю, куда сквозь пространство  
несусь на тугих парусах,  
а сбоку луна сладострастно  
лежит на спине в небесах.

Есть женщины осеннего шитья:  
они, пройдя свой жизненный экватор,  
в постели то слезливы, как дитя,  
то яростны, как римский гладиатор.

Непоспешно и благообразно  
совершая земные труды,  
я аскет, если нету соблазна,  
и пощусь от еды до еды.

Думая о бурной жизни личной,  
трогаю бывшее взглядом праздным:  
все, кого любил я, так различны,  
что, наверно, сам бывал я разным.

Мы гуляем, поем и пляшем  
от рожденья до самой смерти,  
и грешнее ангелов падших —  
лишь раскаявшиеся черти.

Меня в весе и калибре,  
нас охлаждает жизни стужа,  
и погрузневшая колибри  
свирепо каркает на мужа.

В очень важном и постыдном повинны,  
так боимся мы себя обокрасть,

что все время и во всем половинны:  
полуправда, полуриск, полустрасть.

Я давно для себя разрешил  
ту проблему, что ставит нам Бог:  
не жалею, что мог и грешил,  
а жалею того, кто не мог.

Азартная мальчишеская резвость  
кипит во мне, соблазнами дразня;  
похоже, что рассудочная трезвость  
осталась в крайней плоти у меня.

Предпочитая быть романтиком  
во время тягостных решений,  
всегда завязывал я бантиком  
концы любовных отношений.

Спалив дотла последний порох,  
я шлю свой пламенный привет  
всем дамам, в комнатах которых  
гасил я свет.

Я мыслю и порочно, и греховно,  
однако повторяю вновь и вновь:  
еда ничуть не менее духовна,  
чем пьянство, вдохновенье и любовь.

Люблю вино и нежных женщин,  
и только смерть меня остудит;  
одним евреем станет меньше,  
одной легендой больше будет.

Если я перед Богом не струшу,  
то скажу ему: глупое дело —  
осуждать мою светлую душу  
за блудливость истлевшего тела.

## **Кто понял жизни смысл и толк, давно замкнулся и умолк**

Мы вчера лишь были радостные дети,  
но узнали мы в награду за дерзание,  
что повсюду нету рая на планете  
и весьма нас покалечило познание.

Нас душило, кромсало и мяло,  
нас кидало в успех и в кювет,

и теперь нас осталось так мало,  
что, возможно, совсем уже нет.

Не в силах никакая конституция  
устроить отношения и дела,  
чтоб разума и духа проституция  
постыдной и невыгодной была.

По эпохе киша, как мухи,  
и сплетаясь в один орнамент,  
утоляют вожди и шлюхи  
свой общественный темперамент.

На исторических, неровных  
путях, заведомо целинных,  
хотя и льется кровь виновных,  
но гуще хлещет кровь невинных.

Неистово стараясь прикоснуться,  
но страсть не утоляя никогда,  
у истины в окрестностях пасутся  
философов несметные стада.

Я не даю друзьям советы,  
мир дик, нелеп и бестолков,  
и на вопросы есть ответы  
лишь у счастливых мудаков.

Блажен, кто знает все на свете  
и понимает остальное,  
свободно веет по планете  
его дыхание стальное.

В эпохах, умах, коридорах,  
где разум, канон, габарит —  
есть области, скрывшись в которых,  
разнузданный хаос царит.

Множество душевных здесь калек,  
тех, чей дух от воли изнемог,  
ибо на свободе человек  
более и глуше одинок.

Зря, когда мы близких судим,  
суд безжалостен и лих:  
надо жить, прощая людям  
наше мнение о них.

Всюду, где понятно и знакомо,

всюду, где спокойно и привычно,  
в суетной толпе, в гостях и дома  
наше одиночество различно.

Я изучил по сотням судебных  
и по бесчисленным калекам,  
насколько трудно выйти в люди  
и сохраниться человеком.

Прозорливы, недоверчивы, матеры,  
мы лишь искренность распаханную ценим —  
потому и улучшаются актеры  
на трибунах, на амвонах и на сцене.

И понял я, что поздно или рано,  
и как бы ни остра и неподдельна,  
рубцуются в душе любая рана —  
особенно которая смертельна.

Наш век устроил фестиваль  
большого нового искусства:  
расчислив алгеброй мораль,  
нашел гармонию паскудства.

Жаль беднягу: от бурных драм  
расползаются на куски  
все сто пять его килограмм  
одиночества и тоски.

Вижу в этом Творца мастерство,  
и напрасно все так огорчаются,  
что хороших людей – большинство,  
но плохие нам чаще встречаются.

По прихоти Божественного творчества,  
когда нам одиноко в сучьей своре,  
бывает чувство хуже одиночества —  
когда еще душа с рассудком в ссоре.

Нам в избытке свобода дана,  
мы подвижны, вольны и крылаты,  
но за все воздается сполна,  
и различны лишь виды расплаты.

Есть люди с тайным геном комиссарства,  
их мучит справедливости мираж,  
они запойно строят Божье царство,  
и кровь сопровождает их кураж.

Когда боль поселяется в сердце,  
когда труден и выдох, и вдох,  
то гнусней начинают смотреться  
хитрожопые лица пройдох.

Какую мы играть готовы роль,  
какой хотим на лбу нести венец,  
свидетельствует мелочь, знак, пароль,  
порою – лишь обрезанный конец.

Свобода к нам не делает ни шагу,  
не видя нашей страсти очевидной,  
свобода любит дерзость и отвагу,  
а с трусами становится фригидной.

Пока не требует подонка  
на гнусный подвиг подлый век,  
он мыслит нравственно и тонко,  
хрустально чистый человек.

И здесь дорога нелегка,  
и ждать не стоит ничего,  
и, как везде во все века,  
толпа кричит – распни его!

Любой мираж душе угоден,  
любой иллюзии глоток...  
Мой пес гордится, что свободен,  
держа в зубах свой поводок.

Посмотришь вокруг временами  
и ставишь в душе многоточие...  
Все люди бывают гавнами,  
но многие – чаще, чем прочие.

Книги много лет моих украли,  
ибо в ранней юности моей  
книги поклялись мне (и соврали),  
что, читая, стану я умней.

Увы, но с головами и двуногие  
случались у меня среди знакомых,  
что шли скорей по части биологии  
и даже по отделу насекомых.

Не верю я, хоть удави,  
когда в соплях от сантиментов  
поет мне песни о любви  
хор безголосых импотентов.

Нелепы зависть, грусть и ревность,  
и для обиды нет резона,  
я устарел, как злободневность  
позавчерашнего сезона.

Весь день я по жизни хромаю,  
взбивая пространство густое,  
а к ночи легко понимаю  
коней, засыпающих стоя.

Чтоб делался покой для духа тесен,  
чтоб дух себя без устали искал,  
в уюте и комфорте, словно плесень,  
заводится смертельная тоска.

Когда струились по планете  
потоки света и тепла,  
всегда и всюду вслед за этим  
обильно кровь потом текла.

Есть в идиоте дух отваги,  
присущей именно ему,  
способна глупость на зигзаги,  
непостижимые уму.

От укуса потерь и поражений  
мы делаемся глубже и богаче,  
полезнее утрат и унижений  
одни только успехи и удачи.

Тоскливей ничего на свете нету,  
чем вечером, дыша холодной тьмой,  
тоскливо закуривши сигарету,  
подумать, что не хочется домой.

С утра душа еще намерена  
исполнить все, что ей назначено,  
с утра не все еще потеряно,  
с утра не все еще растрчено.

Довольно тускло мы живем,  
коль ищем радости в метании  
от одиночества вдвоем  
до одиночества в компании.

Мои друзья темнеют лицами,  
томясь тоской, что стали жиже  
апломбы, гоноры, амбиции,

гордыни, спеси и престижи.

В кипящих политических страстях  
мне видится модель везде одна:  
столкнулись на огромных скоростях  
и лопнули взлет мешки гавна.

Не все заведомо назначено,  
не все расчерчены пути,  
на ткань судьбы любая всячина  
внезапно может подойти.

Душа не плоть, и ей, наверно,  
покой хозяина опасен:  
благополучие двухмерно,  
и плоский дух его колбасен.

От меня понапрасну взаимности  
жаждут девственно чистые души,  
слишком часто из нежной невинности  
проступают ослиные уши.

Наш век нам подарил благую весть,  
насыщенную горечью глобальной:  
есть глупость незаразная, а есть —  
опасная инфекцией повальной.

Я уважаю в корифеях  
обильных знаний цвет и плод,  
но в этих жизненных трофеях  
всегда есть плесени налет.

Еще Гераклит однажды  
заметил давным-давно,  
что глуп, кто вступает дважды  
в одно и то же гавно.

Забавно, что, живя в благополучии,  
судьбы своей усердные старатели,  
мы жизнь свою значительно улучшили,  
а смысл ее — значительно утратили.

А странно мы устроены: пласты  
великих нам доставшихся наследий  
листаются спокойно, как листы  
альбома фотографий у соседей.

Во мне есть жалость к индивидам,  
чья жизнь отнюдь не тяжела:

Господь им честно душу выдал,  
но в них она не ожила.

Везде в эмиграции та же картина,  
с какой и в России был тесно знаком:  
болван идиотом ругает кретина,  
который его обозвал дураком.

Мы так часто себя предавали,  
накопляя душевную муть,  
что теперь и на воле едва ли  
мы решимся в себя заглянуть.

На крохотной точке пространства  
в дымящемся жерле вулкана  
амбиции наши и чванство  
смешны, как усы таракана.

Учти, когда душа в тисках  
липучей пакости мирской,  
что впереди еще тоска  
о днях, отравленных тоской.

По чувству легкой странной боли,  
по пустоте неясной личной  
внезапный выход из неволи  
похож на смерть жены привычной.

Мы ищем истину в вине,  
а не скребем перстом в затылке,  
и если нет ее на дне —  
она уже в другой бутылке.

Жить, не зная гнета и нажима,  
жить без ощущения почвы зыбкой —  
в наше время столь же достижимо,  
как совокупленье птички с рыбкой.

Давно среди людей томясь и нежась,  
я чувствую, едва соприкоснусь:  
есть люди, источающие свежесть,  
а есть – распространяющие гнусь.

Сменилось место, обстоятельства,  
система символов и знаков,  
но запах, суть и вкус предательства  
на всей планете одинаков.

Не явно, не всегда и не везде,

но часто вдруг на жизненной дороге  
по мере приближения к беде  
есть в воздухе сгущение тревоги.

Наука ускоряет свой разбег,  
и техника за ней несется вскачь,  
но столь же неизменен человек  
и столь же безутешен женский плач.

Надежность, покой, постоянство —  
откуда им взяться на свете,  
где время летит сквозь пространство,  
свистя, как свихнувшийся ветер.

Присущая свободе неуверенность  
ничтожного зерна в огромной ступке  
рождает в нас душевную растерянность,  
кидающую в странные поступки.

Многие знакомые мои —  
вряд ли это видно им самим —  
жизни проживают не свои,  
а случайно выпавшие им.

Мы, как видно, другой породы,  
если с маху и на лету  
в диком вакууме свободы  
мы разбились о пустоту.

Мы с прошлым распростились. Мы в бегах.  
И здесь от нас немедля отвязался  
тот вакуум на глиняных ногах,  
который нам духовностью казался.

Не зря у Бога люди вечно просят  
успеха и удачи в деле частном:  
хотя нам деньги счастья не приносят,  
но с ними много легче быть несчастным.

Густой поток душевных драм  
берет разбег из той беды,  
что наши сны – дворец и храм,  
а явь – торговые ряды.

После смерти мертвецки мертвы,  
прокрутившись в земном колесе,  
все, кто жил только ради жратвы,  
а кто жил ради пьянства – не все.

Правнук наши жизни подытожит.  
Если не заметит – не жалеет.  
Радуйся, что в землю нас положат,  
а не, слава Богу, в мавзолей.

## **Увы, когда с годами стал я старше, со мною стали суше секретарши**

Состариваясь в крови студенистой,  
система наших крестиков и ноликов  
доводит гормональных оптимистов  
до геморроидальных меланхоликов.

Когда во рту десятки пломб —  
ужели вы не замечали,  
как уменьшается апломб  
и прибавляются печали?

Душой и телом охладев,  
я погасил мою жаровню:  
еще смотрю на нежных дев,  
а для чего – уже не помню.

У старости – особые черты:  
душа уже гуляет без размаха,  
а радости, восторги и мечты —  
к желудку поднимаются от паха.

Возвратом нежности маня,  
не искушай меня без нужды;  
все, что осталось от меня,  
годится максимум для дружбы.

На склоне лет печаль некстати,  
но все же слаще дела нет,  
чем грустно думать на закате,  
из-за чего заках рассвет.

А ты подумал ли, стареющий еврей,  
когда увязывал в узлы пожитки куцые,  
что мы бросаем сыновей и дочерей  
на баррикады сексуальной революции?

Покуда мне блаженство по плечу,  
пока из этой жизни не исчезну —  
с восторгом ощущая, что лечу,  
я падаю в финансовую бездну.

Исчерпываюсь, таю, истощаюсь —  
изнашивает всех судьба земная,  
но многие, с которыми общаюсь,  
давно уже мертвы, того не зная.

Стократ блажен, кому дано  
избегнуть осени, в которой  
бормочет старое гавно,  
что было фауной и флорой.

В такие дни то холодно, то жарко,  
и всюду в теле студень вместо жил;  
становится себя ужасно жалко  
и мерзко, что до жалости дожил.

Идут года. Еще одно  
теперь известно мне страдание:  
отнюдь не каждому дано  
достойно встретить увядание.

Уже по склону я иду,  
уже смотрю издалека,  
а все еще чего-то жду  
от телефонного звонка.

От боли душевной, от болей телесных,  
от мыслей, вселяющих боль, —  
целительней нету на свете компресса,  
чем залитый внутрь алкоголь.

Тоска бессмысленных скитаний,  
бесплодный пыл уплывших дней,  
напрасный жар пустых мечтаний  
сохранны в памяти моей.

Если не играл ханжу-аскета,  
если нараспашку сквозь года,  
в запахе осеннего букета  
лето сохраняется тогда.

В апреле мы играли на свирели,  
все лето проработали внаем,  
а к осени заметно присмирели  
и тихую невнятицу поем.

Судьбой в труху не перемолот,  
еще в уме, когда не злюсь,  
я так теперь уже немолод,

что даже смерти не боюсь.

Как ночь безнадежно душна!  
Как жалят укусы презрения!  
Бессонница тем и страшна,  
что дарит наплывы прозрения.

Знаю с ясностью откровения,  
что мне выбрать и предпочесть.  
Хлеб изгнания. Сок забвения.  
Одиночество, осень, честь.

Летят года, остатки сладки,  
и грех печалиться.  
Как жизнь твоя? Она в порядке,  
она кончается.

На старости, в покое и тиши,  
окрепло понимание мое,  
что учат нас отсутствию души  
лишь те, кто хочет вытравить ее.

Сделать зубы мечтал я давно —  
обаяние сразу удвоя,  
я ковбоя сыграл бы в кино,  
а возможно — и лошадь ковбоя.

Ленив, апатичен, безволен,  
и разум, и дух недвижимы —  
я странно и тягостно болен  
утратой какой-то пружины.

В промозглой мгле живет морока  
соблазна сдаться, все оставить  
и до естественного срока  
душе свободу предоставить.

Я хотел бы на торжественной латыни  
юным людям написать предупреждение,  
что с годами наше сердце сильно стынет  
и мучительно такое охлаждение.

Когда свернуло стрелки на закат,  
вдруг чувство начинает посещать,  
что души нам даются напрокат,  
и лучше их без пятен возвращать.

Глупо жгли мы дух и тело  
раньше времени дотла;

если б молодость умела,  
то и старость бы могла.

Зачем болишь, душа? Устала?  
Спешишь к истоку всех начал?  
Бутылка дней пустее стала,  
но и напиток покрепчал.

Я смолоду любил азарт и глупость,  
был формой сочен грех и содержанием,  
спасительная старческая скупость  
закат мой оградила воздержанием.

Слабеет жизненный азарт,  
ужалось время, и похоже,  
что десять лет тому назад  
я на пятнадцать был моложе.

Мой век почти что на исходе,  
и душу мне слегка смущает,  
что растворение в природе  
ее нисколько не прельщает.

Наступила в судьбе моей фаза  
упрощения жизненной драмы:  
я у дамы боюсь не отказа,  
а боюсь я согласия дамы.

Так быстро проносилось бытие,  
так шустро я гулял и ликовал,  
что будущее светлое мое  
однажды незаметно миновал.

В минувшее куда ни оглянусь,  
куда ни попаду случайным взором —  
исчезли все обиды, боль и гнусь,  
и венчик золотится над позором.

Мне жалко иногда, что время вспять  
не движется над замершим пространством:  
я прежние все глупости опять  
проделал бы с осознанным упрямством.

Я беден – это глупо и обидно,  
по возрасту богатым быть пора,  
но с возрастом сбывается, как видно,  
напутствие «ни пуха ни пера».

Сегодня день был сух и светел

и полон ясной синевой,  
и вдруг я к вечеру заметил,  
что существую и живой.

У старости душа настороже;  
еще я в силах жить и в силах петь,  
еще всего хочу я, но уже —  
слабее, чем хотелось бы хотеть.

Живу я, смерти не боюсь,  
и душу страхом не смущаю;  
земли, меня и неба связь  
я неразрывно ощущаю.

Овеян скорым расставанием,  
живу без лишних упований  
и наслаждаюсь остыванием  
золы былых очарований.

Сойдя на станции конечной,  
мы вдруг обрадуемся издали,  
что мы вдоль жизни скоротечной  
совсем не зря усердно брызгали.

Свободу от страстей и заблуждений  
несут нам остывания года,  
но также и отменных наслаждений  
отныне я лишаюсь навсегда.

Безоглядно, отважно и шало  
совершала душа бытие  
и настолько уже поветшала,  
что слеза обжигает ее.

Есть одна небольшая примета,  
что мы все-таки жили не зря:  
у закатного нашего света  
занимает оттенки заря.

Смотрю спокойно и бесстрастно:  
светлее уголь, снег темней,  
когда-то все мне было ясно,  
но я, к несчастью, стал умней.

Увы, всему на свете есть предел:  
облез фасад, и высохли стропила;  
в автобусе на девку поглядел —  
она мне молча место уступила.

Не надо ждать ни правды, ни морали  
от лысых и седых историй пьяных,  
какие незабудки мы срывали  
на тех незабываемых полянах.

Осенние пятна на солнечном диске,  
осенняя глушь разговора,  
и листья летят, как от Бога записки  
про то, что увидимся скоро.

Приближается время прощания,  
перехода обратно в потемки  
и пустого, как тень, обещания,  
что тебя не забудут потомки.

Чую вдруг душой оцепеневшей  
скорость сокращающихся дней;  
чем осталось будущего меньше,  
тем оно тревожит нас больней.

Я изменяюсь незаметно  
и не грущу, что невозвратно,  
я раньше дам любил конкретно,  
теперь я их люблю абстрактно.

Загрустили друзья, заскучали,  
сонно плещутся вялые флаги,  
ибо в мудрости много печали,  
а они поумнели, бедняги.

Не знаю, каков наш удел впереди,  
но здесь наша участь видна:  
мы с жизнью выходим один на один,  
и нас побеждает она.

Все-все-все, что здоровью противно,  
делал я под небесным покровом;  
но теперь я лечусь так активно,  
что умру совершенно здоровым.

Опять с утра я глажу взглядом  
все, что знакомо и любимо,  
а смерть повсюду ходит рядом  
и каждый день проходит мимо.

Я рос когда-то вверх, судьбу моля,  
чтоб вырасти сильнее и прямей,  
теперь меня зовет к себе земля,  
и горблюсь я, прислушиваясь к ней.

Умирать без обиды и жалости,  
в никуда обретая билет,  
надо с чувством приятной усталости  
от не зря испарившихся лет.

Бесполезны уловки учености,  
и не стоит кишеть, мельгеша:  
предназначенный круг обреченности  
завершит и погаснет душа.

Наш путь извилист, но не вечен,  
в конце у всех – один вокзал;  
иных уж нет, а тех долечим,  
как доктор доктору сказал.

За вторником является среда,  
субботу вытесняет воскресенье;  
от боли, что уходим навсегда,  
придуманно небесное спасенье.

Нет, нет, на неизбежность умереть  
не сетую, не жалею, не злюсь,  
но понял, начиная третью треть,  
что я четвертой четверти боюсь.

Так было раньше, будет впредь,  
и лучшего не жди,  
дано родиться, умереть  
и выпить посреди.

Лишь только начавши стареть,  
вступая в сумерки густые,  
мы научаемся смотреть  
и видеть истины простые.

Я жил распахнуто и бурно,  
и пусть Господь меня осудит,  
но на плите могильной урна —  
пускай бутылка по форме будет.

## **Смеяться вовсе не грешно над тем, что вовсе не смешно**

Навряд ли Бог был вечно. Он возник  
в какой-то первобытно древний век  
и создал человека в тот же миг,  
как Бога себе создал человек.

Бог в игре с людьми так несерьезен,  
а порой и на руку нечист,  
что похоже – не религиозен,  
а возможно – даже атеист.

Напрасно совесть тягомотная  
в душе моей свербит на дне:  
я человек – ничто животное  
не чуждо мне.

Где-то там, за пределом познания,  
где загадка, туманность и тайна,  
некто скрытый готовит заранее  
все, что позже случится случайно.

Бог умолчал о том немногом,  
когда дарил нам наши свойства,  
что были избраны мы Богом,  
чтоб сеять смуты и расстройтва.

Зря, чужим гореньем освещаясь,  
тот еврей молитвы завывает,  
ибо очень видно, с ним общаясь:  
пусто место свято не бывает.

Как новое звучанье гаммы нотной,  
открылось мне, короткий вызвав шок,  
что даже у духовности бесплотной  
возможен омерзительный душок.

Здесь, как везде, и тьма, и свет,  
и жизни дивная игра,  
и как везде – спасенья нет  
от ярых рыцарей добра.

Без веры жизнь моя убога,  
но я найду ее не скоро,  
в еврейском Боге слишком много  
от пожилого прокурора.

Зачем евреи всех времен  
так Бога славят врозь и вместе?  
Бог не настолько неумен,  
чтобы нуждаться в нашей лести.

Застав Адама с Евой за объятием,  
Господь весьма расстроен ими был  
и труд назначил карой и проклятием,

а после об амнистии забыл.

При тягостном с Россией расставании  
мне новая слегка открылась дверь:  
я Бога уличил в существовании,  
и Он не отпирается теперь.

Прося, чтоб Господь ниспослал благодать,  
еврей возбужденно качается,  
обилием пыла стремясь набать  
того, с кем заочно встречается.

Я Богу докучаю неспроста  
и просьбу не считаю святотатством:  
тюрьмой уже меня Ты испытал,  
попробуй испытать меня богатством.

По части веры – полным неучем  
я рос, гуляка и ленивец;  
еврейский Бог свиреп и мелочен,  
а мой – распутный олимпиец.

Господь при акте сотворения  
просчет в расчетах совершил  
и сделал дух пищеварения  
сильней духовности души.

Здесь разум пейсами оброс,  
и так они густы,  
что мысли светят из волос,  
как жопа сквозь кусты.

Мне вдруг чудится – страшно конкретно, —  
что устроено все очень попросту  
и что даже душа не бессмертна,  
а тогда все напрасно и попусту.

По чистой логике неспешной  
Бог должен быть доволен мной:  
держава мерзости кромешной  
меня уважила тюрьмой.

Чтоб не вредить известным лицам,  
на Страшный Суд я не явлюсь:  
я был такого очевидцем,  
что быть свидетелем боюсь.

Бог – истинный художник и смотреть  
соскучился на нашу благодать;

Он борется с желаньем все стереть  
и заново попробовать создать.

Блажен любой в его готовности  
с такой же легкостью, как муха,  
от нищей собственной духовности  
прильнуть к ведру Святого Духа.

Навряд ли Бог назначил срок,  
чтоб род людской угас, —  
что в мире делать будет Бог,  
когда не станет нас?

У нас не те же, что в России,  
ушибы чайников погнутых:  
на тему Бога и Мессии  
у нас побольше стебанутых.

Всегда есть люди-активисты,  
езде суются с вожделием  
и страстно портят воздух чистый  
своим духовным выделением.

Евреи могут быть умны,  
однако духом очень мелки:  
не только смотрят мне в штаны,  
но даже лезут мне в тарелки.

Испанец, славянин или еврей —  
повсюду одинакова картина:  
гордыня чистокровностью своей  
святое утешение кретина.

Есть люди – их кошмарно много, —  
чьи жизни отданы тому,  
чтоб осрамить идею Бога  
своим служением Ему.

Еврею нужна не простая квартира:  
еврею нужна для жилья непорочного  
квартира, в которой два разных сортира —  
один для мясного, другой для молочного.

У Бога многое невнятно  
в его вселенской благодати:  
он выдает судьбу бесплатно,  
а душу требует к расплате.

Бога мы о несбыточном просим,

докучая слезами и стонами,  
но и жертвы мы щедро приносим  
то Христом, то шестью миллионами.

Поэт отменной правоты,  
Блок был в одном не прав, конечно:  
стерев случайные черты,  
мы Божий мир сотрем беспечно.

Когда однажды, грозен и велик,  
над теми, кто в живых еще остались,  
появится Мессии дивный лик,  
мы очень пожалеем, что дождались.

Встречая в евреях то гнусь, то плебейство,  
я думаю с тихим испугом:  
Господь не затем ли рассеял еврейство,  
чтоб мы не травились друг другом?

Вчера я вдруг подумал на досуге —  
нечаянно, украдкой, воровато, —  
что если мы и вправду Божьи слуги,  
то счастье – не подарок, а зарплата.

Богу благодарен я за ночи,  
прожитые мной не хуже дней,  
и за то, что с возрастом не очень  
сделался я зорче и умней.

Ощущаю опять и снова  
и блаженствую, ощутив,  
что в Начале отнюдь не слово,  
а мелодия и мотив.

Устав от евреев, сажусь покурить  
и думаю грустно и мрачно,  
что Бог, поспеша свою Книгу дарить,  
народ подобрал неудачно.

Мне странны все, кто Богу служит,  
азартно вслух талдыча гимны;  
мой Бог внутри, а не снаружи,  
и наши связи с ним интимны.

Для многих душ была помехой  
моя безнравственная лира,  
я сам себе кажусь прорехой  
в божественном устройстве мира.

Часто молчу я в спорах,  
чуткий, как мышеловка:  
есть люди, возле которых  
умными быть неловко.

Те, кто хранит незримо нас,  
ослабли от бессилья,  
и слезы смахивают с глаз  
их шелковые крылья.

Много лет я не верил ни в Бога, ни в черта,  
но однажды подумать мне срок наступил:  
мы лепились из глины различного сорта —  
и не значит ли это, что кто-то лепил?

Ни бесов нет меж нас, ни ангелиц,  
однако же заметить любопытно,  
что много между нами ярких лиц,  
чья сущность и крылата, и копытна.

Успешливые всюду и во многом,  
познавшие и цену, и размерность,  
евреи торговали даже с Богом,  
продав Ему сомнительную верность.

Бога нет, но есть огонь во мраке.  
Дивных совпадений перепляс,  
символы, знамения и знаки —  
смыслом завораживают нас.

Человек человеку не враг,  
но в намереньях самых благих  
если молится Богу дурак,  
расшибаются лбы у других.

Это навик совсем не простой,  
только скучен и гнусен слегка —  
жадно пить из бутылки пустой  
и пьянеть от пустого глотка.

Взяв искру дара на ладонь  
и не смиряя зов чудачества,  
Бог любит кинуть свой огонь  
в сосуд сомнительного качества.

Дух любит ризы в позолоте,  
чтоб не увидел посторонний,  
что бедный дух порочней плоти  
и несравненно изощренней.

Подозрительна мне атмосфера  
безусловного поклонения,  
ибо очень сомнительна вера,  
отвергающая сомнения.

Творец таким узлом схлестнул пути,  
настолько сделал общим беспокойство,  
что в каждой личной жизни ощутим  
стал ветер мирового неустройства.

Какой бы на земле ни шел разбой  
и кровью проливалась благодать —  
Ты, Господи, не бойся, я с Тобой,  
за все Тебя смогу я оправдать.

Нечто тайное в смерти сокрыто,  
ибо нету и нету вестей  
о рутине загробного быта  
и азарте загробных страстей.

Дети загулявшего родителя,  
мы не торопясь, по одному,  
попусту прождавшие Спасителя,  
сами отправляемся к нему.

Не зря, не зря по всем дорогам  
судьба вела меня сюда,  
здесь нервы нашей связи с Богом  
обнажены, как провода.

Я с первых дней прижился тут,  
мне здесь тепло, светло и сухо,  
и прямо в воздухе растут  
плоды беспочвенного духа.

Судьбой обглоданная кость,  
заблудший муравей,  
чужой свободы робкий гость  
я на земле моей.

Когда сюда придет беда,  
я здесь приму беду,  
и лишь отсюда в никуда  
я некогда уйду.

*1991 год*

## Брызги античности

Я оценил в Левкиппе вновь  
его суждения стальные:  
«Кто пережил одну любовь,  
переживет и остальные».

Не зря учил нас Гиппократ  
(а медик был он – первый номер):  
«Болезнь – полезней во сто крат,  
чем не болеть, поскольку помер».

Хотя Сафо была стервоза,  
но мысли – стоят дорогого:  
«Своя душевная заноза —  
больней такой же у другого».

Есть очень точная страница  
в пустых прозрениях Платона:  
что скоро будет честь цениться  
дешевле рваного гондона.

Сказал однажды Геродот,  
известный древности историк,  
что грешник подлинный лишь тот,  
кому запретный плод был горек.

Отменной зоркости пример  
сыскался в книге Теофраста:  
пластичность жестов и манер —  
заметный признак педераста.

Заметил некогда Сенека,  
явив провиденье могучее,  
что лишь законченный калека  
не трахнет женщину при случае.

А чуткий к запахам Хилон  
весьма любил, как пахнут кони,  
но называл одеколон  
«благоуханием для вони».

Прочел у некоего грека  
(не то Эвклид, не то Страбон),  
что вреден духу человека  
излишних мыслей выебон.

Великий скульптор Поликлет  
ваял роскошно и сердито:  
кто б ни заказывал портрет,  
он вылеплял гермафродита.

Писал когда-то Еврипид,  
большой мастак в любви и спорте:  
«Блаженный муж во сне храпит,  
а не блаженный – воздух портит».

Был Демосфен оратор пылкой  
и непосредственной замашки,  
а если бил кого бутылкой —  
рука не ведала промашки.

Прекрасно умственной отвагой  
у Архимеда изречение:  
«Утяжеленность пьяной влагой  
приносит жизни облегчение».

Полезно в памяти иметь  
совет интимный Авиценны:  
«Не стоит яйцами звенеть,  
они отнюдь не звоном ценны».

В саду своем за чашкой чая  
сказал однажды Фукидид:  
«Мудрец живет, не замечая  
того, про что кретин – галдит».

Был молод циник Диодор,  
но у него дыханье сперло:  
соленый мелкий помидор  
попал в дыхательное горло.

Виноторговец Аристипп  
ничуть умом не выделялся,  
но был такой распутный тип,  
что даже скот его боялся.

Признался как-то Эпикур,  
деля бутылку на троих,  
что любит он соседских кур  
гораздо больше, чем своих.

Когда ученая Аспазия  
плоды наук в умы внедряла,  
то с мужиками безобразия  
на манускриптах вытворяла.

Жил Диоген в убогой бочке,  
но был он весел и беспечен  
и приносил туда цветочки,  
когда гречанку ждал под вечер.

Любил себя хвалить Гомер,  
шепча при творческих удачах:  
«Я всем векам даю пример,  
слепые видят зорче зрячих».

Как объяснил друзьям Эсхил,  
заплавав как-то ближе к ночи:  
«Когда мужик позорно хил,  
его супругу жалко очень».

Легко слова Эзопа эти  
ко всем эпохам приложить:  
«Хотя и плохо жить на свете,  
но это лучше, чем не жить».

Весьма ученый грек Фалес  
давал советы деловые:  
«Не заходи бездумно в лес,  
который видишь ты впервые».

Был тонкий логик Эпидод,  
писал он тексты – вроде басен:  
«Дурак не полностью – лишь тот,  
кто с этим полностью согласен».

С людьми общался Архилох  
без деликатности и фальши:  
«Пускай ты фраер или лох,  
но если жлоб – отсыдь подальше».

Был Горгий – истинный философ:  
людей в невежестве винил  
и тьму загадочных вопросов  
еще сильнее затемнил.

Жил одичало Эпиктет —  
запущен дом, лицо не брито,  
но часто пил он тет-а-тет  
с женой соседа Феокрита.

Пиндар высоким был поэтом,  
парил с орлами наравне,  
но успевал еще при этом

коллегу вываливать в гавне.

Сказал философ Парменид,  
не допускавший верхоглядства,  
что каждый день его тошнит  
от окружающего блядства.

Одна из мыслей Эмпедокла  
мне исключительно любезна:  
«Чья репутация подмокла,  
сушить такую – бесполезно».

Блуждал по небу взор Лукреция,  
раскрыт был мир его уму,  
и вся мифическая Греция  
была до лампочки ему.

Учил угрюмый Ксенофан,  
что мир обрушится в итоге,  
поскольку неуч и профан  
повсюду вышли в педагоги.

С похмелья раз Анаксимандр  
узрел природы произвол:  
близ дома росший олеандр  
большими розами зацвел.

Зенон, кидая крошки в рот,  
заметил в неге и покое,  
что бездуховен только тот,  
кто знает, что это такое.

Не зря писал Экклезиаст,  
и я в его словах уверен:  
«Опасен тот энтузиаст,  
который всех пасти намерен».

В театре сидя, Анахарсис  
уже почти что задремал,  
но испытал такой катарсис,  
что стал заикой и хромал.

Был очень мудрым Демокрит,  
и вот ума его творение:  
«Когда душа в тебе горит,  
залей огнем ее горение».

Приятно мне, что старший Плиний  
со мною схож во вкусах был

и плавность нежных женских линий  
весьма и всячески любил.

А младший Плиний в тот момент  
писал совсем иные книжки,  
поскольку был он импотент  
и знал о ебле понаслышке.

Состарясь, ветхий Ганнибал  
в тени от лавра за колодцем  
детешкам байки загибал,  
что был великим полководцем.

Молился Зевсу жрец Пирей  
и от судьбы не ждал злодейства,  
но слух пошел, что он еврей,  
и с горя впал он в иудейство.

Как сам Лукулл, не мог никто  
перед едой произнести:  
«Всегда идет на пользу то,  
что вред не может принести!»

Солон писал законы все,  
чтоб обуздать умы и души,  
но сам один из них нарушил,  
за что в тюрьму позорно сел.

И духом был неукротимый,  
и реформатор был Пиррон,  
нанес весьма он ощутимый  
хозяйству Греции урон.

Сказал однажды Заратустра,  
что слышал он, как пела птица:  
«Не надо, люди, слишком шустро  
по этой жизни суетиться!»

Мирил соседей Гесиод,  
когда они бывали злы:  
«Над нами общий небосвод,  
а вы ругаетесь, козлы!»

Рассеян был Аристокл  
и влип однажды в передрагу:  
чужие тапочки обул,  
и в рабство продали беднягу.

Напрасно мучился Конфуций,

пытаясь к разуму воззвать:  
«Не надо свой отросток куцый  
куда ни попадя совать!»

У геометра Филолая  
была культура тех веков,  
и, сластолюбием пылая,  
он ёб своих учеников.

Учил маневру Ксенофонт  
(вояка был поднаторевший):  
«Бери противника на понт,  
пуглив и робок враг забздевший».

Тоска томила Протагора,  
когда шептались прохиндеи,  
что он украл у Пифагора  
свои несвежие идеи.

От чина к чину рос Люцилий,  
но потерял, увлекшись, меру:  
сошелся он с еврейкой Цилей,  
чем погубил свою карьеру.

Все брали в долг у Феогида,  
не отказал он никому,  
но иногда, такая гнида,  
просил вернуть он долг ему.

Весьма гордился Поликрат:  
на рынке мудрость победила,  
и сдался споривший Сократ,  
ему сказав: «Ты прав, мудила!»

Учеников Анаксимен  
тому учил больших и малых,  
что крутость резких перемен  
родит мерзавцев небывалых.

Анакреон не знал сомнений,  
пробормотав на склоне лет:  
«Какой ни будь мудрец и гений,  
а тоже ходит в туалет».

Весь век нам в это слабо верится,  
но Гераклит сказал однажды,  
что глупо смертному надеяться  
одну бутылку выпить дважды.

Предупреждал еще Гораций —  
поэт, философ, эрудит, —  
что близость муз и дружба граций  
житейской мудрости вредит.

Учил великий Аристотель,  
а не какой-нибудь балбес,  
что похотливость нашей плоти  
совсем не грех, а дар небес.

Как нам советовал Овидий,  
я свой характер укрощаю,  
и если я кого обидел,  
то это я ему прощаю.

## Второй иерусалимский дневник

*Пришел в итоге путь мой грустный,  
кривой и непринципальный,  
в великий город захолустный,  
планеты центр провинциальный.*

### Россия для души и для ума – как первая любовь и как тюрьма

Мы благо миру сделали великое,  
недаром мы душевные калеки,  
мы будущее, черное и дикое,  
отжили за других в двадцатом веке.

Остался жив и цел, в уме и силе,  
и прежние не сломлены замашки,  
а был рожден в сорочке, что в России  
всегда вело к смирительной рубашке.

Мы жили там, не пряча взгляда,  
а в наши души и артерии  
сочился тонкий яд распада  
гниющей заживо империи.

Россия, наши судьбы гнусно скомкав,  
еще нас обрекла наверняка  
на пристальность безжалостных потомков,  
брезгливый интерес издалека.

Где взрывчато, гнусно и ржаво,  
там чувства и мысли острее,  
чем гуще прогнила держава,  
тем чище любовь к ней в еврее.

Как бы ни были духом богаты,  
но с ошметками русского теста  
мы заметны везде, как цитаты  
из большого безумного текста.

Пока мы кричали и спорили,  
ключи подбирая к секрету,  
трагедия русской истории  
легко перешла в оперетту.

Темна российская заря,

и смутный страх меня тревожит:  
Россия в поисках царя  
себе найти еврея может.

Мы обучились в той стране  
отменно благостной науке  
ценить в порвавшейся струне  
ее неизданные звуки.

В душе у всех теперь надрыв:  
без капли жалости эпоха  
всех обокрала, вдруг открыв,  
что где нас нет, там тоже плохо.

Бессилен плач и пуст молебен  
в эпоху длительной беды,  
зато стократ сильней целебен  
дух чуши и белиберды.

В чертах российских поколений  
чужой заметен след злодейский:  
в национальный русский гений  
закрался гнусный ген еврейский.

Забавно, как тихо и вкрадчиво  
из воздуха, быта, искусства —  
проникла в наш дух азиатчина  
тяжелого стадного чувства.

Мне чудится порой: посланцы Божьи,  
в безвылазной грязи изнемогая,  
в российском захолустном бездорожье  
кричат во тьму, что весть у них благая.

Российская судьба своеобразна,  
в ней жизненная всякая игра  
пронизана миазмами маразма  
чего-нибудь, протухшего вчера.

Не зря мы гнили врозь и вместе,  
ведь мы и вырастили всех,  
дарящих нам теперь по чести  
свое презрение и смех.

Воздух вековечных русских споров  
пахнет исторической тоской:  
душно от несчетных прокуроров,  
мыслящих на фене воровской.

Увы, приметы и улики  
российской жизни возрожденной —  
раскаты, рокоты и рыки  
народной воли пробужденной.

Если вернутся времена  
всех наций братского объятья,  
то, как ушедшая жена, —  
забрать оставшиеся платья.

Среди совсем чужих равнин  
теперь матрешкой и винтовкой  
торгует гордый славянин  
с еврейской прытью и сноровкой.

Прохвосты, проходимцы и пройдохи  
и прочие, кто духом ядовит,  
в гармонии с дыханием эпохи  
легко меняют запахи и вид.

В России после пробуждения  
опять тоска туманит лица:  
все снова ищут убеждения,  
чтобы опять закабалиться.

Сквозь общие радость и смех,  
под музыку, песни и танцы  
дерьмо поднимается вверх  
и туго смыкается в панцирь.

Секретари и председатели,  
директора и заместители —  
их как ни шли к ебене матери,  
они и там руководители.

В той российской, нами прожитой неволе,  
меж руин ее, развалин и обломков —  
много крови, много грязи, много боли —  
много смысла для забывчивых потомков.

Слепец бежит во мраке,  
и дух его парит,  
неся незрячим факел,  
который не горит.

Нас рабство меняло за долгие годы —  
мы гнулись, ломались, устали...  
Свободны не те, кто дожил до свободы,  
а те, кто свободными стали.

Послушные пословицам России,  
живя под неусыпным их надзором,  
мы сора из избы не выносили,  
а тихо отравлялись этим сором.

Часы истории – рывками  
и глазу смертному невнятно  
идут, но, трогая руками,  
мы стрелки двигаем обратно.

Стал русский дух из-за жестоких  
режимов, нагло-самовластных, —  
родильным домом дум высоких  
и свалкой этих дум несчастных.

Я мало, в сущности, знаком  
с душевным чувством, что свободен:  
кто прожил век под колпаком,  
тем купол неба чужероден.

От марша, от песни, от гимна —  
всегда со стыдом и несмело  
вдруг чувствуешь очень интимно,  
что время всех нас поимело.

Я свободен от общества не был,  
и в итоге прожитого века  
нету места в душе моей, где бы  
не ступала нога человека.

Уже до правнуков навряд  
сумеет дух наш просочиться,  
где сок и желчь, где мед и яд  
и смысла пряная горчица.

Всегда из мути, мглы и марева  
невыносимо черных дней  
охотно мы спешим на зарево  
болотных призрачных огней.

Играть в хоккей бежит слепой,  
покрылась вишнями сосна,  
поплыл карась на водопой,  
Россия впрягла ото сна.

Российской бурной жизни непонятность  
нельзя считать ни крахом, ни концом,  
я вижу в ней возможность, вероятность,

стихию с человеческим яйцом.

Ровеснику тяжело живется сейчас,  
хотя и отрадно, что дожил,  
но время неслышно ушло из-под нас  
ко всем, кто намного моложе.

Россия обретет былую стать,  
которую по книгам мы любили,  
когда в ней станут люди вырастать  
такие же, как те, кого убили.

Сами видя в себе инородцев,  
поперечных российской судьбе,  
очень много душевных колодцев  
отравили мы сами себе.

Я, в сущности, всю жизнь писал о том, как  
мы ткали даже в рабстве нашу нить;  
достанет ли таланта у потомка  
душой, а не умом нас оценить?

В России ни одной не сыщешь нации,  
избегнувшей нашествия зверей,  
рожденных от безумной радиации,  
текущей из несчетных лагерей.

Бурлит людьми река Исхода,  
уносит ветви от корней,  
и молча ждет пловца свобода  
и сорок лет дороги к ней.

Еврей весьма уютно жил в России,  
но ей была вредна его полезность;  
тогда его оттуда попросили,  
и тут же вся империя разлезлась.

Мы ушли, мы в ином окаянстве  
ищем радости зренья и слуха,  
только смех наш остался в пространстве  
флегматичного русского духа.

Мой жизненный опыт – вчерашен,  
он рабской, тюремной породы,  
поэтому так ошарашен  
я видом иной несвободы.

Я скучаю по тухло-застойной  
пошлой жизни и подлой морали,

где, тоскуя о жизни достойной,  
мы душой и умом воспаряли.

Я уезжал, с судьбой не споря,  
но в благодетельной разлуке,  
как раковина – рокот моря,  
храню я русской речи звуки.

Я пишу тебе письмо со свободы,  
все вокруг нам непонятно и дивно,  
всюду много то машин, то природы,  
а в сортирах чисто так, что противно.

Навеки в нас российская простуда;  
живем хотя теплично и рассеянно,  
но все, что за душой у нас, – оттуда  
надышано, привито и навеяно.

Один еврей другого не мудрей,  
но разный в них запал и динамит,  
еврей в России больше, чем еврей,  
поскольку он еще антисемит.

Чисто русский, увы, человек —  
по душе, по тоске, по уму,  
я по-русски устроил свой век  
и тюрьму поменял на суму.

Игра словами в рифму – эстафета,  
где чувствуешь партнера по руке:  
то ласточка вдруг выпорхнет от Фета,  
то Блок завьется снегом по строке.

От моей еврейской головы  
прибыль не объявится в деньгах,  
слишком я наелся трын-травы  
на полянах русских и лугах.

И родом я чистый еврей, и лицом,  
а дух мой (укрыть его некуда) —  
останется русским, и дело с концом  
(хотя и обрезанным некогда).

Боюсь с людьми сходиться ближе,  
когда насквозь видна их суть:  
у тех, кто жил в вонючей жиже,  
всегда найдется что плеснуть.

Люблю Россию: ширь полей,

повсюду вождь на пьедестале...  
Я меньше стал скучать по ней,  
когда оттуда ездить стали.

Мечтал я тихой жизнью праздной  
пожить последние года,  
но вал российской пены грязной  
за мной вослед хлестнул сюда.

До боли все мне близко на Руси,  
знакомо, ощутимо и понятно,  
но Боже сохрани и упаси  
меня от возвращения обратно.

## **Храпит и яростно дрожит казацкий конь при слове «жид»**

В евреях легко разобраться,  
отринув пустые названия,  
поскольку евреи – не нация,  
а форма существования.

Давным-давно с умом и пылом  
певец на лире пробренчал:  
любовь и голод правят миром;  
а про евреев – умолчал.

Развеяв нас по всем дорогам,  
Бог дал нам ум, характер, пыл;  
еврей, конечно, избран Богом,  
но для чего – Творец забыл.

Пучина житейского моря  
и стонов, и криков полна,  
а шум от еврейского горя  
тем громче, чем мельче волна.

Везде цветя на все лады  
и зрея даже в лютой стуже,  
евреи – странные плоды:  
они сочней, где климат хуже.

Евреи рвутся и дерзают,  
езде дрожжами лезут в тесто,  
нас потому и обрезают,  
чтоб занимали меньше места.

Я прекрасно сплю и вкусно ем,

но в мозгу – цепочка фонарей;  
если у еврея нет проблем —  
значит, он не полностью еврей.

В истории все повторяется вновь  
за жизнь человечества длинную,  
история любит еврейскую кровь —  
и творческую, и невинную.

Я подлинный продукт еврейской нации:  
душа моя в союзе с диким нравом  
использует при каждой ситуации  
мое святое право быть неправым.

Как тайное течение реки,  
в нас тянется наследственная нить:  
еврей сидит в еврее вопреки  
желанию его в себе хранить.

Евреи собираются молиться,  
и сразу проступает их особость,  
и зримо отчуждаются их лица,  
и смутная меня тревожит робость.

Хотя они прославлены на свете  
за дух своекорыстья и наживы,  
евреи легкомысленны, как дети,  
но именно поэтому и живы.

Есть мечта – меж евреев она  
протекает подобно реке:  
чтоб имелась родная страна  
и чтоб жить от нее вдалеке.

Знак любого личного отличия  
нам важней реальных достижений,  
мания еврейского величия  
выросла на почве унижений.

На пире российской чумы  
гуляет еврей голосисто,  
как будто сбежал из тюрьмы  
и сделался – рав Монте-Кристо.

В еврейском духе скрыта порча,  
она для духа много значит:  
еврей неволю терпит молча,  
а на свободе – горько плачет.

Думаю, что жить еврею вечно,  
капая слезу на мед горчащий;  
чем невероятней в мире нечто,  
тем оно бывает с нами чаще.

У Хаси энергии дикий напор,  
а вертится – вылитый глобус,  
и если поставить на Хасю мотор,  
то Хася была бы автобус.

Забыв, что дрожжи только в тесте  
растут махрово и упруго,  
евреи жить стремятся вместе,  
травя и пестуя друг друга.

Горжусь и восхищаться не устану  
искусностью еврейского ума:  
из воздуха сбиваем мы сметану,  
а в сыр она сгущается сама.

Еврейской мутной славой дорожа,  
всегда еврей читает с одобрением,  
как жили соплеменники, служа  
любой чужой культуры удобрением.

Может, потому на белом свете  
так евреи долго задержались,  
что по всей планете на столетия  
дружно друг от друга разбежались.

Еврейский бес весьма практичен,  
гордыней польской обуян,  
слегка теперь по-русски пьян  
и по-немецки педантичен.

На месте, где еврею все знакомо  
и можно местным промыслом заняться,  
еврей располагается как дома,  
прося хозяев тоже не стесняться.

В евреях есть такое электричество,  
что все вокруг евреев намагничено,  
поэтому любое их количество  
повсюду и всегда преувеличено.

В мире нет резвее и шустрей,  
прытче и проворней (будто птица),  
чем немолодой больной еврей,  
ищущий возможность прокормиться.

Все ночью спит: недвижны воды,  
затихли распри, склоки, розни,  
и злоумышленник природы —  
еврей во сне готовит козни.

Ни одной чумной бацилле  
не приснится резвость Цили.  
А блеснувшая монета  
в ней рождает скорость света.

Везде на всех похож еврей,  
он дубом дуб в дубовой роще,  
но где труднее – он умней,  
а где полегче – он попроще.

Это кто, благоухая,  
сам себя несет, как булку?  
Это вышла тетя Хая  
с новым мужем на прогулку.

Нынче нашел я в рассудке убогом  
ключ ко всему, чему был изумлен:  
да, у евреев был договор с Богом,  
только он вовремя не был продлен.

Содержимому наших голов  
мир сегодняшней сильно обязан,  
в мире нету серьезных узлов,  
где какой-то еврей не завязан.

Поверхностному взгляду не постичь  
духовность волосатых иудеев;  
во многих – если бороду остричь —  
немедля станет видно прохиндеев.

Еврей везде еврею рад,  
в евреях зная толк,  
еврей еврею – друг и брат,  
а также – чек и долг.

Все гипотезы, факты и мнения  
для здоровья полезны еврею:  
посещая научные прения,  
я от мудрости сладостно прею.

А знает ли Бог в напряженных  
раздумьях о высшей морали,  
что пеплом евреев сожженных

недавно поля удобряли?

Логичность не люблю я в человеке,  
живое нелогично естество,  
та логика, что выдумали греки, —  
пустое для еврея баловство.

Еврейский огонь затухал, но не гас,  
и тем отличаемся мы,  
но желтые звезды пылают на нас  
заметней в периоды тьмы.

Наука расщелкать пока что слаба  
характера нашего зерна;  
еврейство – не нация, это судьба,  
и гибельность ей жизнетворна.

Тайной боли гармоничные  
с неких пор у целой нации,  
у еврея с дымом – личные  
связаны ассоциации.

Народ любой воистину духовен  
(а значит – и Создателем ценим)  
не духом синагог или часовен,  
а смехом над отчаяньем своим.

Печально, если правы те пророки,  
слепые к переменным временам,  
которые все прошлые уроки  
и в будущем предсказывают нам.

Нравы, мода, вкус, идеи —  
все меняется на свете,  
но все так же иудеи  
состоят за все в ответе.

Полон гордости я, что еврей,  
хоть хулу изрыгает мой рот;  
видя ближе, люблю я сильней  
мой великий блудливый народ.

В истории бывают ночь, и день,  
и сумерки, и зори, и закаты,  
но длится если пасмурная тень,  
то здесь уже евреи виноваты.

Наверно, это порчи знак,  
но знаю разумом и сердцем,

что всем евреям я никак  
быть не могу единоверцем.

Ту тайну, что нашептывает сердце,  
мы разумом постичь бы не могли:  
еврейское умение вертеться  
влияет на вращение Земли.

Неожиданным открытием убиты,  
мы разводим в изумлении руками,  
ибо думали, как все антисемиты,  
что евреи не бывают дураками.

Мы в мире живем от начала начал,  
меж наций особая каста,  
и в мире я лучше людей не встречал  
и хуже встречал я не часто.

Еще я не хочу ни в ад, ни в рай,  
и Бога я прошу порой как друга:  
пугай меня, Господь, но не карай,  
еврей сильнее духом от испуга.

В лабиринтах, капканах и каверзах рос  
мой текущий сквозь вечность народ;  
даже нос у еврея висит, как вопрос,  
опрокинутый наоборот.

От ловкости еврейской не спастись:  
прожив на русской почве срок большой,  
они даже смогли обзавестись  
загадочной славянской душой.

Мне приятно, что мой соплеменник  
при житейском раскладе поганом  
в хитроумии поиска денег  
делит первенство только с цыганом.

Напрасно я витаю в эмпиреях  
и столь же для химер я стар уже,  
но лучшее, что знаю я в евреях, —  
умение селиться в мираже.

Евреи уезжают налегке,  
кидая барахло в узлах и грудах,  
чтоб легче сочинялось вдалеке  
о брошенных дворцах и изумрудах.

Душе бывает тяжело даже бремя

лишения привычной географии,  
а нас однажды выкинуло время —  
из быта, из судьбы, из биографии.

Так сюда евреи побежали,  
словно это умысел злодейский:  
в мире ни одной еще державе  
даром не сошел набег еврейский.

Еврею от Бога завещано,  
что, душу и ум улаживая,  
мы любим культуру, как женщину,  
поэтому слаще — чужая.

Из-за гор и лесов, из-за синих морей,  
кроме родственных жарких приветов,  
непрерывно привозит еврей еврей  
миллионы полезных советов.

Еврей с отвычки быть самим собой,  
а душу из личины русской выпростав,  
кидается в израильский запой  
и молится с неистовостью выкрестов.

Сметливостью Господь нас не обидел,  
ее нам просто некуда девать,  
еврей даже деньги в чистом виде  
умеют покупать и продавать.

Я то лев, то заяц, то лисица,  
бродят мысли бешеной гурьбой,  
ибо я еврей, и согласиться  
мне всего трудней с самим собой.

Израиль я хвалю на всех углах,  
живется тут не скучно и упруго,  
еврей — мастера в чужих делах,  
а в собственных — помеха друг для друга.

Не молясь и не зная канонов,  
я мирской многогрешный еврей,  
но ушедшие шесть миллионов  
продолжаются жизнью моей.

Расчислив жестокого века итог,  
судить нас не следует строго:  
каков он у нас, отвернувшийся Бог,  
такие еврей у Бога.

Загробный быт – комфорт и чудо;  
когда б там было неприятно,  
то хоть один еврей оттуда  
уже сыскал бы путь обратно.

## **Увы, подковой счастья моего кого-то подковали не того**

Вчерашнюю отжив судьбу свою,  
нисколько не жалея о пропаже,  
сейчас перед сегодняшней стою —  
нелепый, как монах на женском пляже.

Декарт существовал, поскольку мыслил,  
умея средства к жизни добывать,  
а я, хотя и мыслю в этом смысле,  
но этим не могу существовать.

Любая система, структура, режим,  
любое устройство правления —  
по праву меня ощущают чужим  
за наглость необщего мнения.

Моих соседей песни будят,  
я свой бюджет едва крою,  
и пусть завистливо осудят  
нас те, кто сушится в раю.

Я пить могу в любом подвале,  
за ночью ночь могу я пить,  
когда б в уплату принимали  
мою готовность заплатить.

Главное в питье – эффект начала,  
надо по нему соображать:  
если после первой полегчало —  
значит, можно смело продолжать.

А пьянством я себя не истреблял,  
поскольку был доволен я судьбой,  
и я не для забвения гулял,  
а ради наслаждения гульбой.

Канул день за чтением старых книг,  
словно за стираньем белых пятен —  
я сегодня многого достиг,  
я теперь опять себе понятен.

В тюрьму однажды загнан сучьей сворой,  
я прошлому навеки благодарен  
за навык жить на уровне, который  
судьбой подарен.

Вчера я пил на склоне дня  
среди седых мужей науки;  
когда б там не было меня,  
то я бы умер там со скуки.

Ценя гармонию в природе  
(а морда пьяная – погана),  
ко мне умеренность приходит  
в районе третьего стакана.

Судьбу свою от сопель до седин  
я вынес и душою, и горбом,  
по не был никому я господин  
и не был даже Богу я рабом.

Ввиду значительности стажа  
в любви, скитаниях и быте  
совсем я чужд ажиотажа  
вокруг значительных событий.

Исполняя житейскую роль,  
то и дело меняю мелодию,  
сам себе я и шут, и король,  
сам себе я и царь, и юродивый.

Подвальный хлам обшарив дочиста,  
нашел я в памяти недужной,  
что нету злей, чем одиночество  
среди чужой гулянки дружной.

Кофейным запахом пригреты,  
всегда со мной теперь с утра  
сидят до первой сигареты  
две дуры – вялость и хандра.

Сполна уже я счастлив оттого,  
что пью существования напиток.  
Чего хочу от жизни? Ничего;  
а этого у ней как раз избыток.

Дыша озоном светлой праздности,  
живу от мира в отдалении,  
не видя целесообразности  
в усилении и возделении.

Услышь, Господь, мои рыдания,  
избавь меня хотя б на год  
и от романтики страдания,  
и от поэзии невзгод.

Дар легкомыслия печальный  
в себе я бережно храню  
как символ веры изначальной,  
как соль в житейское меню.

Когда мне часто выпить не с кем,  
то древний вздох, угрюм и вечен,  
осознается фактом веским:  
иных уж нет, а те далече.

С людьми я избегаю откровений,  
не делаю для близости ни шага,  
распахнута для всех прикосновений  
одна лишь туалетная бумага.

И я носил венец терновый  
и был отъявленным красавцем,  
но я, готовясь к жизни новой,  
постриг его в супы мерзавцам.

Я нашел свою душевную окрестность  
и малейшее оставил колебание;  
мне милее анонимная известность,  
чем почетное на полке прозябание.

В толпе не избытен выбор масок  
для стадного житейского лица,  
а я и не пастух, и не подпасок,  
не волк я, не собака, не овца.

Чертил мой век лихие письмена,  
испытывая душу и сноровку,  
но в самые тугие времена  
не думал я намыливать веревку.

У самого кромешного предела  
и даже за него теснимый веком,  
я делал историческое дело —  
упрямо оставался человеком.

Явившись эталоном совершенства  
для жизни человеческой земной,  
составили бы чье-нибудь блаженство

возможности, упущенные мной.

Я учился часто и легко,  
я любого знания глоток  
впитывал настолько глубоко,  
что уже найти его не мог.

Увы, не стану я богаче  
и не скоплю ни малой малости,  
Бог ловит блох моей удачи  
и ногтем щелкает без жалости.

Я, слава Богу, буднично обычен,  
я пью свое вино и ем свой хлеб;  
наш разум гениально ограничен  
и к подлинно трагическому слеп.

Полным неудачником я не был,  
сдобрен только горечью мой мед;  
даже если деньги кинут с неба,  
мне монета шишку нашибет.

От боязни пути коллективного  
я из чувства почти инстинктивного  
рассуждаю всегда от противного  
и порою от очень противного.

Причины всех бесчисленных потерь  
я с легкостью нашел в себе самом,  
и прежние все глупости теперь  
я делаю с оглядкой и умом.

Сижу с утра до вечера  
с понурой головой:  
совсем нести мне нечего  
на рынок мировой.

Вон живет он, люди часто врут,  
все святыни хая и хуля,  
а меж тем я чист, как изумруд,  
и в душе святого – до хуя.

Напрасно умный очи пучит  
на жизнь дурацкую мою,  
ведь то, что умный только учит,  
я много лет преподаю.

Единство вкуса, запаха и цвета  
в гармонии с блаженством интеллекта

являет нам тарелка винегрета,  
бутылкой довершаясь до комплекта.

Я повторяю путь земной  
былых людских существований;  
ничто не ново под луной,  
кроме моих переживаний.

Я проживаю жизнь вторую,  
и как бы я ни жил убого,  
а счастлив, будто я ворую  
кусочек чужой судьбы у Бога.

Житейская пронзительная слякоть  
мои не отравила сантименты,  
еще я не утратил счастье плакать  
в конце слезоточивой киноленты.

Болезни, полные коварства,  
я сам лечу, как понимаю:  
мне помогают все лекарства,  
которых я не принимаю.

Я курю, бездельничаю, пью,  
грешен и ругаюсь, как сапожник;  
если бы я начал жизнь мою  
снова, то еще бы стал картежник.

Заметен издали дурак,  
хоть облачись он даже в тогу:  
ходил бы я, надевши фрак,  
в сандалиях на босу ногу.

И вкривь и вкось, и так и сяк  
идут дела мои блестяще,  
а вовсе наперекосяк  
они идут гораздо чаще.

Я сам за все в ответе, покуда не погас,  
я сам определяю жизнь свою:  
откуда дует ветер, я знаю всякий раз,  
но именно туда я и плюю.

Я жил хотя довольно бестолково,  
но в мире не умножил боль и злобу,  
я золото в том лучшем смысле слова,  
что некуда уже поставить пробу.

Чуждый суете, вдали от шума,

сам себе непризнанный предтеча,  
счастлив я все время что-то думать,  
яростно себе противореча.

Ушли куда-то сила и потенция.  
Зуб мудрости на мелочи источен.  
Дух выдохся. Осталась лишь эссенция,  
похожая на уксусную очень.

Не люблю вылезать я наружу,  
я и дома ничуть не скучаю,  
и в душевную общую стужу  
я заочно тепло источаю.

Моя душа брезглива стала  
и рушит жизни колею:  
не пью теперь я с кем попало,  
из-за чего почти не пью.

За лютой деловой людской рекой  
с холодным наблюдаю восхищением;  
у замыслов моих размах такой,  
что глупо опошлять их воплощением.

На лень мою я не в обиде,  
я не рожден иметь и властвовать,  
меня Господь назначил видеть,  
а не кишеть и соучаствовать.

В шумихе жизненного пира  
чужой не знавшая руки,  
моя участвовала лира  
всем дирижерам вопреки.

В нашем доме выпивают и поют,  
всем уставшим тут гульба и перекур,  
денег тоже в доме – куры не клюют,  
ибо в доме нашем денег нет на кур.

Душевым пенится вином  
и служит жизненным оплотом  
святой восторг своим умом,  
от Бога данный идиотам.

Последнее время во всем неудача,  
за что бы ни взялся – попытка пустая,  
и льется урон, убедительно знача,  
что скоро повалит удача густая.

Высокое, разумное, могучее  
для пьянства я имею основание:  
при каждом подвернувшемся мне случае  
я праздную свое существование.

Хоть за собой слежу не строго,  
но часто за руку ловлю:  
меня во мне излишне много  
и я себя в себе давлю.

Усталость, праздность, лень и вялость,  
упадок сил и дух в упадке...  
А бодряков – мешает жалость —  
я пострелял бы из рогатки.

Я пока из общества не изгнан,  
только ни во что с ним не играю,  
ибо лужу чувствую по брызгам  
и брезгливо капли отираю.

Я все хочу успеть за срок земной —  
живу, тоску по времени тая:  
вон женщина обласкана не мной,  
а вон из бочки пиво пью не я.

Я себя расходую и трачу,  
фарта не прося мольбой и плачем;  
я имею право на удачу,  
ибо я готов и к неудачам.

Интимных радостей ценитель,  
толпе не друг и глух к идеям,  
я в зале жить мечтал как зритель,  
а жил – отпетым лицедеем.

Из деятелей самых разноликих,  
чей лик запечатлен в миниатюрах,  
люблю я видеть образы великих  
на крупных по возможности купюрах.

Я живу в утешительной вере,  
что мое не напрасно сгорание,  
а уроны, утраты, потери —  
я в расчеты включаю заранее.

Где душевные холод и мрак  
роль ума исполняют на сцене,  
я смотрюсь как последний дурак,  
но никто во мне это не ценит.

Есть ответ у любого вопроса,  
только надо гоняться за зайцем,  
много мыслей я вынул из носа,  
размышляя задумчивым пальцем.

Свой разум я молчанием лечу,  
болея недержания пороком,  
и даже сам с собой теперь молчу,  
чтоб глупость не сморозить ненароком.

Когда я пьянствовать сажусь,  
душа моя полна привета,  
и я нисколько не стыжусь  
того, что счастлив делать это.

Как застоявшийся скакун  
азартно землю бьет копытом,  
так я, улегшись на боку,  
опять ленивым тешусь бытом.

Мы живы, здоровы, мы едем встречать  
друзей, прилетающих в гости,  
на временном жребии – счастья печать,  
удачные кинулись кости.

Я к мысли глубокой пришел:  
на свете такая эпоха,  
что может быть все хорошо,  
а может быть все очень плохо.

В гармонии Божественных начал  
копаюсь я, изъяны уловляя:  
похоже, что Творец не различал  
добро и зло, меня изготовляя.

Гнев гоню, гашу ожесточение,  
радуюсь, ногой ступив на землю,  
я за этой жизни приключение  
все печали с легкостью приемлю.

А если что читал Ты, паче чаянья  
(слова лишь, а не мысли я меняю),  
то правильно пойми мое отчаянье —  
Тебя я в нем почти не обвиняю.

Живя в пространстве музыки и света,  
купаюсь в удовольствиях и быте,  
и дико мне, что кончится все это

с вульгарностью естественных событий.

Быть выше, чище и блюсти  
меня зовут со всех сторон;  
таким я, Господи прости,  
и стану после похорон.

Судьбу дальнейшую свою  
не вижу я совсем пропащей,  
ведь можно даже и в раю  
найти котел смолы кипящей.

Я нелеп, недалек, бестолков,  
да еще полыхаю, как пламя;  
если выстроить всех мудаков,  
мне б, конечно, доверили знамя.

Как раз потому, что не вечен  
и тают песчинки в горсти,  
я жизни медлительный вечер  
со вкусом хочу провести.

Я в жизни так любил игру  
и светлый хмель шальной идеи,  
что я и там, когда умру,  
найду загробные затеи.

## **Божественность любовного томления – источник умноженья населения**

Приснилась мне юность отпетая,  
приятели – мусор эпохи —  
и юная дева, одетая  
в одни лишь любовные вздохи.

Не все жизнь моя текла,  
мне стало вовремя известно,  
что для душевного тепла  
должны два тела спать совместно.

Любым любовным совмещениям  
даны и дух, и содержание,  
и к сексуальным извращениям  
я отношу лишь воздержание.

Красотки в жизни лишь одно  
всегда считали унижением:

когда мужчины к ним давно  
не лезли с гнусным предложением.

В те благословенные года  
жили неразборчиво и шало,  
с пылкостью любили мы тогда  
все, что шевелилось и дышало.

С таинственной женской натурой  
не справиться мысли сухой,  
но дама с хорошей фигурой —  
понятней, чем дама с плохой.

Даже тех я любить был не прочь,  
на кого посмотреть без смущения  
можно только в безлунную ночь  
при отсутствии освещения.

Храни вас Бог, любовницы мои!  
Я помню лишь обрывки каждой ленты,  
а полностью кино былой любви  
хранят пускай скопцы и импотенты.

Она была задумчива, бледна,  
и волосы текли, как жаркий шелк;  
ко мне она была так холодна,  
что с насморком я вышел и ушел.

Теряешь разум, девку встретив,  
и увлекаешься познанием;  
что от любви бывают дети,  
соображаешь с опозданием.

В моей судьбе мелькнула ты,  
как воспаленное видение,  
как тень обманутой мечты,  
как мимолетное введение.

Если дама в гневе и обиде  
на коварных пакостниц и сучек  
плачет, на холодном камне сидя,  
у нее не будет даже внушек.

Люблю я дев еврейских вид вальяжный,  
они любить и чувствовать умеют,  
один лишь у евреек минус важный:  
они после замужества умнеют.

Вселяются души умерших людей —

в родившихся, к ним непричастных,  
и души монахинь, попавши в блядей,  
замужеством сушат несчастных.

Чтобы мерцал души кристалл  
огнем и драмой,  
беседы я предпочитал  
с одетой дамой.  
Поскольку женщина нагая —  
уже другая.

Вон дама вся дымится от затей,  
она не ищет выгод или власти,  
а просто изливает на людей  
запасы невостребованной страсти.

Волнуя разум, льет луна  
свет мироздания таинственный,  
и лишь философа жена  
спокойно спит в обнимку с истиной.

Я знание собрал из ветхих книг  
(поэтому чуть пыльное оно),  
а в женскую натуру я проник  
в часы, когда читать уже темно.

Обманчив женский внешний вид,  
поскольку в нежной плоти хрупкой  
натура женская таит  
единство арфы с мясорубкой.

Все, что женщине делать негоже,  
можно выразить кратко и просто:  
не ложись на прохвостово ложе,  
бабу портит объятье прохвоста.

Во сне пришла ко мне намедни  
соседка юная нагая;  
ты наяву приди, не медли,  
не то приснится мне другая.

У зрелых женщин вкус отменно точен  
и ловкая во всем у них сноровка:  
духовные невидимые очи —  
и те они подкрашивают ловко.

Дуэт любви – два слитных соло,  
и в этой песне интересной  
девица пряного посола

вокально выше девы пресной.

Когда года, как ловкий вор,  
уносят пыл из наших чресел,  
в постели с дамой – разговор  
нам делается интересен.

Как женской прелести пример  
в ее глазах такой интим,  
как будто где-то вставлен хер  
и ей отрадно ощутим.

Когда я был тугой, худой, упругий  
и круто все проблемы укрощались,  
под утро уходившие подруги  
тогда совсем не так со мной прощались.

Люблю я этих, и вон тех,  
и прочих тоже,  
и сладок Богу сок утех  
на нашем ложе.

Как утлый в землю дом осел,  
я в быт осел и в нем сижу,  
а на отхожий нежный промысел  
уже почти что не хожу.

Не в силах дамы побороть  
ни коньяком, ни папиросами  
свою сентябрьскую плоть  
с ее апрельскими запросами.

Всегда готов я в новый путь  
на легкий свет надежды шалой  
найти отзывчивую грудь  
и к ней прильнуть душой усталой.

Чем угрюмей своды мрачные,  
тем сильнее мечта о свете;  
чем теснее узы брачные,  
тем дырявей эти сети.

Женщину полночной и дневной  
вижу я столь разной неизменно,  
что пугаюсь часто, как со мной  
эти две живут одновременно.

Супруг у добродетельной особы,  
разумно с ней живя на склоне дней,

не пил я в полночь водку, спал давно бы,  
уже блаженно спал бы. Но не с ней.

Есть явное птичье в супружеской речи  
звучание чувств обнаженных:  
воркуют, курлычут, кукуют, щебечут,  
кудахчут и крякают жены.

Про то, как друг на друга поглядели,  
пока забудь;  
мир тесен, повстречаемся в постели  
когда-нибудь.

А жаль, что жизнь без репетиций  
течет единожды сквозь факт:  
сегодня я с одной певицей  
сыграл бы лучше первый акт.

У той – глаза, у этой – дивный стан,  
а та была гурман любовной позы,  
и тихо прошептал старик Натан:  
«Как хороши, как свежи были Розы!»

Когда к нам дама на кровать  
сама сигает в чем придется,  
нам не дано предугадать,  
во что нам это обойдется.

Ту мудрость, что не требует ума,  
способность пронизательности вещей  
и чуткость в распознании дерьма —  
Создатель поместил зачем-то в женщин.

Хотя мы очень похотливы,  
зато весьма неприхотливы.

Не будоражу память грезами,  
в былое взор не обращаю  
и камасутровыми позами  
уже подруг не восхищаю.

Я с дамами тактичен и внимателен;  
усердно расточая дифирамбы,  
я делаюсь настолько обаятелен,  
что сам перед собой не устоял бы.

Не видя прелести в скульптуре,  
люблю ходить к живой натуре.

Когда я не спешу залечь с девицей,  
себя я ощущаю с умилением  
хранителем возвышенных традиций,  
забытых торопливым поколением.

Глупо – врать о страсти, падать ниц,  
нынче дам не ловят на уловку,  
время наплодило тучу птиц,  
жадных на случайную поклевку.

Когда еще я мог и успевал  
иметь биографические факты,  
я с дамами охотно затевал  
поверхностно-интимные контакты.

В разъездах, путешествиях, кочевьях  
я часто предавался сладкой неге;  
на генеалогических деревьях  
на многих могут быть мои победы.

Мы даже в распутстве убоги,  
и грустно от секса рутинного,  
читая, что делали боги,  
покуда не слились в Единого.

Забав имел я в молодости массу,  
в несчетных интерьерах и пейзажах  
на девок я смотрел, как вор – на кассу,  
и кассы соучаствовали в кражах.

Наши бранные крики и хрипы  
Бог не слышит, без устали слушая  
только нежные стоны и всхлипы,  
утешенье Его благодушия.

Люблю житейские уроки  
без посторонних и свидетелей,  
мне в дамах темные пороки  
милее светлых добродетелей.

Душевной не ведая драмы,  
лишь те могут жить и любить,  
кто прежние раны и шрамы  
умел не чесать, а забыть.

Меж волнами любовного прилива  
в наплыве нежных чувств изнемогая,  
вдруг делается женщина болтлива,  
как будто проглотила попугая.

С лицом кота, не чуждого сметане,  
на дам я устремляю легкий взор  
и вычурно текучих очертаний  
вкушаю искусительный узор.

Наука описала мир как данность,  
на всем теперь названия прибиты,  
и прячется за словом «полигамность»  
тот факт, что мы ужасно блядовиты.

Спектаклей на веку моем не густо,  
зато, насколько в жизни было сил,  
я жрицам театрального искусства  
себя охотно в жертву приносил.

Опять весной мечты стесняют грудь,  
весна для жизни – свежая страница;  
и хочется любить кого-нибудь,  
но без необходимости жениться.

В меня вперяют взор циничный  
то дама пик, то туз крестей,  
и я лечу, цветок тепличный,  
в пучину губительных страстей.

Вовсе не был по складу души  
я монахом-аскетом-философом;  
да, Господь, я немало грешил,  
но учти, что естественным способом.

Молит Бога, потупясь немного,  
о любви молодая вдовица;  
зря, бедняжка, тревожишь ты Бога,  
с этим лучше ко мне обратиться.

Не знаю выше интереса,  
чем вечных слов исполнить гамму  
и вывести на путь прогресса  
замшело нравственную даму.

Встречая скованность и мнительность,  
уже я вижу в отдаленности  
восторженность и раздражительность  
хронической неутоленности.

Когда внезапное событие  
заветный замысел калечит,  
нам лишь любовное соитие

всего надежней душу лечит.

В дела интимные, двуспальные  
партийный дух закрался тоже:  
есть дамы столь принципиальные,  
что со врага берут дороже.

Петух ведет себя павлином,  
от индюка в нем дух и спесь,  
он как орел с умом куриным,  
но куры любят эту смесь.

Подушку мнет во мраке ночи,  
вертясь, как зяблик на суку,  
и замуж выплеснуться хочет  
девица в собственном соку.

Какие дамы нам не раз  
шептали: «Дорогой!  
Конечно, да! Но не сейчас,  
не здесь и не с тобой!»

Семья, являясь жизни главной школой,  
изучена сама довольно слабо,  
семья бывает даже однополой,  
когда себя мужик ведет как баба.

На старости у наших изголовий  
незримое сияние клубится  
и отблесками канувших любовей  
высвечивает замкнутые лица.

Увы, но верная жена,  
избегнув изменной пучины,  
всегда слегка раздражена  
или уныла без причины.

Любви теперь боюсь я, как заразы,  
смешна мне эта легкая атлетика,  
зато люблю мои о ней рассказы  
и славу донжуана-теоретика.

Семьи уклад и канитель  
душа возносит до святыни,  
когда семейная постель —  
оазис в жизненной пустыне.

Затем из рая нас изгнали,  
чтоб на земле, а не в утопии

плодили мы в оригинале  
свои божественные копии.

Чтобы души своей безбрежность  
художник выразил сполна,  
нужны две мелочи: прилежность  
и работающая жена.

Чего весь век хотим, изнемогая  
и мучаясь томлением шальным?  
Чтоб женщина – и та же, но другая  
жила с тобою, тоже чуть иным.

Логикой жену не победить,  
будет лишь кипеть она и злиться;  
чтобы бабу переубедить,  
надо с ней немедля согласиться.

Проблемы и тягости множа,  
душевым дыша суховеем,  
мы даже семейное ложе —  
прокрустовым делать умеем.

Забавно, что ведьма и фурия  
сперва были фея и гурия.

А та, с кем спала вся округа,  
не успевая вынимать,  
была прилежная супруга  
и добродетельная мать.

Зов самых лучших побуждений  
по бабам тайно водит нас:  
от посторонних походов  
семья милей во много раз.

Любви блаженные страницы  
коплю для Страшного суда,  
ибо флейтистки и блудницы  
меня любили – таки да.

В семье мужик обычно первый  
бывает хворостью сражен;  
у бедных вдов сохранней нервы,  
ибо у женщин нету жен.

Кто в карьере успехом богат,  
очень часто еще и рогат.

Стал я склонен во сне к наваждениям:  
девы нежные каждую ночь  
подвергают меня наслаждениям,  
и с утра мне трудиться невмочь.

Глаза еще скользят по женской талии,  
а мысли очень странные плывут:  
что я уже вот-вот куплю сандалии,  
которые меня переживут.

Нет, любовной неги не тая,  
жизнь моя по-прежнему греховна,  
только столь бесплотна плоть моя,  
что и в тесной близости духовна.

Когда умру и тут же слава  
меня овеет взмахом крыл,  
начнется дикая облава  
на тех старух, с кем я курил.

Думаю угрюмо всякий раз,  
глядя на угасшие светильники:  
будут равнодушно жить без нас  
бабы, города и собутыльники.

Я готовлюсь к отлету души,  
подбивая житейский итог;  
не жалею, что столько грешил,  
а жалею, что больше не мог.

Я тебя люблю, и не беда,  
что недалеко пора проститься,  
ибо две дороги в никуда  
могут еще где-то совместиться.

## **Наш дух бывает в жизни искушен не раньше, чем невинности лишен**

Творец нас в мир однажды бросил  
и дал бессмысленную прыть,  
нас по судьбе несет без весел,  
но мучит мысль, куда нам плыть.

С возрастом яснее Божий мир,  
делается больно и обидно,  
ибо жизнь изношена до дыр  
и сквозь них былое наше видно.

Настолько время быстротечно  
и столько стен оно сломало,  
что можно жить вполне безопасно,  
от нас зависит очень мало.

Совсем не реки постной шелухи  
карающую сдерживают руку,  
а просто Бог нас любит за грехи,  
которыми развеивает скуку.

Не постичь ни душе, ни уму,  
что мечта хороша вдалеке,  
ибо счастье – дорога к нему,  
а настигнешь – и пусто в руке.

Живу среди своих, а с остальными  
общаюсь, молчаливо признавая,  
что можно жить печалью иными,  
иную боль и грусть переживая.

Чтоб нам не изнемочь в тоске и плаче,  
судьба нас утешает из пространства  
то радостью от завтрашней удачи,  
то хмелем послезавтрашнего пьянства.

Идея прямо в душу проникает,  
идея – это праздник искушения,  
идея – это то, что возникает  
в уме, который жаждет орошения.

И детские грезы греховные,  
и мудрая горечь облезлых —  
куют нам те цепи духовные,  
которые крепче железных.

Дав дух и свет любой бездарности,  
Бог молча сверху смотрит гневно,  
как черный грех неблагодарности  
мы источаем ежедневно.

Масштабность и значительность задач,  
огромность затевающихся дел —  
заметней по размаху неудач,  
которые в итоге потерпел.

В толкучке, хаосе и шуме,  
в хитросплетенье отношений  
любая длительность раздумий

чревата глупостью решений.

Все в жизни потаенно, что всерьез,  
а наша суета судеб случайных —  
лишь пена волн и пыль из-под колес,  
лишь искры от костра процессов тайных.

Я плавал в море, знаю сушу,  
я видел свет и трогал тьму;  
не грех уродует нам душу,  
а вожделение к нему.

Размазни, разгильдяи, тетери —  
безусловно, любезны Творцу:  
их уроны, утраты, потери  
им на пользу идут и к лицу.

Вера быть профессией не может,  
ласточке не родственен петух,  
ибо правят должность клерки Божьи,  
а в конторе – служба, а не дух.

В извилистых изгибах бытия  
я часто лбом на стену клал печать,  
всегда чуть не хватало мне чутья,  
чтоб ангела от беса отличать.

Нрав у Творца, конечно, крут,  
но полон блага дух Господний,  
и нас не он обрек на труд,  
а педагог из преисподней.

Увы, рассудком не постичь,  
но всем дано познать в итоге,  
какую чушь, фуфло и дичь  
несли при жизни мы о Боге.

Сметая наши судьбы, словно сор,  
не думая о тех, кто обречен,  
безумный гениальный режиссер  
все время новой пьесой увлечен.

Я вдруг почувствовал сегодня —  
и почернело небо синее, —  
как тяжела рука Господня,  
когда карает за уныние.

Три фрукта варятся в компоте,  
где плещет жизни кутерьма:

судьба души, фортуна плоти  
и приключения ума.

Наш век успел довольно много,  
он мир прозрением потряс:  
мы – зря надеялись на Бога,  
а Бог – напрасно верил в нас.

Печальный зритель жутких сцен,  
то лживо-ханжеских, то честных,  
Бог бесконечно выше стен  
вокруг земных религий местных.

Недюжинного юмора запас  
использовав на замыслы лихие,  
Бог вылепил Вселенную и нас  
из хаоса, абсурда и стихии.

А жить порой невмоготу —  
от угрызений, от сомнений,  
от боли видеть наготу  
своих ничтожных вождлений.

Сурово относясь к деяньям грешным  
(и женщины к ним падки, и мужчины),  
суди, Господь, по признакам не внешним,  
а взвешивай мотивы и причины.

Когда азарт и упоение  
трясут меня лихой горячкой,  
я слышу сиплое сопение  
чертей, любующихся скачкой.

А если во что я и верю,  
пока мое время течет,  
то только в утрату, потерю,  
ошибку, урон и просчет.

Кивнули, сойдясь поневоле,  
и врозь разошлись по аллее,  
и каждый подумал без боли,  
что вместе им было светлее.

Наши духа горние вершины —  
вовсе не фантом и не обман,  
а напрягший хилые пружины  
ветхий и залежанный диван.

Всему на свете истинную цену

отменно знает время – лишь оно  
сметает шелуху, сдувает пену  
и сцеживает в амфоры вино.

Не для литья пустой воды  
Бог дал нам дух и речь,  
а чтобы даже из беды  
могли мы соль извлечь.

Я жил во тьме и мгле,  
потом я к свету вышел;  
нет рая на земле,  
но рая нет и выше.

Я очень рад, что мы научно  
постичь не в силах мира сложность;  
без Бога жить на свете скучно  
и тяжелее безнадежность.

Я жив: я весел и грущу,  
я сон едой перемежаю,  
и душу в мыслях полощу,  
и чувством разум освежаю.

Увы, но никакие улучшения  
в обилии законов и преград  
не справятся с тем духом разрушения,  
который духу творческому брат.

Нет ни единого штриха  
в любом рисунке поведения,  
чтоб не таил в себе греха  
для постороннего суждения.

У жизни есть мелодия, мотив,  
гармония сюжетов и тональность,  
а радуга случайных перспектив  
укрыта в монотонную реальность.

Живешь, покоем дорожа,  
путь безупречен, прям и прост...  
Под хвост попавшая вожжа  
пускает все коту под хвост.

В любой беде, любой превратности,  
терпя любое сокрушение,  
душа внезапные приятности  
себе находит в утешение.

Перед выбором – что предпочесть,  
я ни в грусть не впадал, ни в прострацию,  
я старался беречь только честь  
и спокойно терял репутацию.

Цель нашей жизни столь бесспорна,  
что зря не мучайся, приятель:  
мы сеем будущего зерна,  
а что взойдет – решит Создатель.

Я знаю, печальный еврей,  
что в мире есть власть вездесущая,  
что роль моя в жизни моей —  
отнюдь и совсем не ведущая.

Столько силы и страсти потрачено  
было в жизни слепой и отчаянной,  
что сполна и с лихвою оплачена  
мимолетность удачи нечаянной.

Я черной краской мир не крашу,  
я для унынья слишком стар;  
обогащая душу нашу,  
потери – тоже Божий дар.

Мой разум точат будничные хлопоты,  
долги над головой густеют грозно,  
а в душу тихо ангел шепчет: жопа ты,  
что к этому относишься серьезно.

Я врос и вжился в роль балды,  
а те, кто был меня умней,  
едят червивые плоды  
змеиной мудрости своей.

События жизни во внешней среде  
в душе отражаются сильно иначе,  
и можно смеяться кромешной беде  
и злую тоску ощущать от удачи.

Азартно дух и плоть вершат пиры,  
азартны и гордыня, и разбой,  
Бог создал человека для игры  
и тайно соучаствует в любой.

Когда еще не баржи мы, а лодки  
и ветром паруса не оскудели,  
заметно даже просто по походке,  
как музыка души играет в теле.

От Бога в наших душах раздвоение,  
такой была задумана игра,  
и зло в душе божественно не менее  
играющего белыми добра.

Чуя близость печальных превратностей,  
дух живой выцветает и вянет;  
если ждать от судьбы неприятностей,  
то судьба никогда не обманет.

Я редко сожалею, что не юн,  
и часто – что в ту пору удалую  
так мало я задел высоких струн,  
а низкие – щипал напропалую.

Из-под поверхностных течений  
речей, обманчиво несложных,  
текут ручьи иных значений  
и смыслов противоположных.

Забавен наш пожизненный удел  
расписывать свой день и даже час,  
как если бы течение наших дел  
действительно зависело от нас.

Хотя еще Творца не знаю лично,  
но верю я, что есть и был такой:  
все сделать так смешно и так трагично  
возможно лишь Божественной рукой.

Редко нам дано понять успеть,  
в чем таится Божья благодать,  
ибо для души важней хотеть,  
нежели иметь и обладать.

Комок живой разумной слизи  
так покори и даль, и высь,  
что создал множество коллизий,  
чтоб обратиться снова в слизь.

Мужество открытого неверия,  
полное тревоги и метания, —  
чище и достойней лицемерия  
ханжеского богопочитания.

В безумствах мира нет загадки,  
Творцу смешны мольбы и просьбы:  
ведь на земле, где все в порядке,

для жизни места не нашлось бы.

Я редко, но тревожу имя Бога:  
материи Твоей худой лоскут,  
умерить я прошу Тебя немного  
мою непонимания тоску.

Живя с азартом и упорством  
среди друзей, вина и смеха,  
блажен, кто брезгает проворством,  
необходимым для успеха.

Ты скорее, Господь, справедлив, чем жесток,  
мне ясней это день ото дня,  
и спасибо, что короток тот поводок,  
на котором Ты держишь меня.

Молитва и брань одновременно  
в живое сплетаются слово,  
высокое с низким беременно  
все время одно от другого.

В игры Бога как пешка включен,  
сам навряд ли я что-нибудь значу;  
кто судьбой на успех обречен,  
с непременностью терпит удачу.

В лицо нам часто дышит бездна,  
и тонкий дух ее зияния  
нам обещает безвозмездно  
восторг полета и слияния.

То главное, что нам необходимо,  
не знает исторических помех,  
поэтому всегда и неврединно  
пребудут на земле любовь и смех.

Нам чуть менее жить одиноко  
в мираже, непостижном и лестном,  
что следит неусыпное око  
за любым нашим шагом и жестом.

Душа моя нисколько не грустит  
о грешном словоблудии моем:  
ей Бог мои все глупости простит,  
поскольку говорил я их – о Нем.

Под осень чуть не с каждого сука,  
окрестности брезгливо озирая,

глядят на нас вороны свысока,  
за труд и суету нас презирая.

Сполна сбылось, о чем мечтали  
то вслух, то молча много лет,  
за исключением детали,  
что чувства счастья снова нет.

У мудрости расхожей – нету дна,  
ищи хоть каждый день с утра до вечера;  
в банальности таится глубина,  
которая ее увековечила.

Ощущение высшей руки  
в нас отнюдь не от воплей ревнителей;  
чувство Бога живет вопреки  
виду многих священнослужителей.

Хотелось быть любимым и любить,  
хотелось выбрать жребий и дорогу,  
и теми я порой хотел бы быть,  
кем не был и не стану, слава Богу.

Сейчас, когда постигла душу зрелость,  
нам видится яснее из тумана  
упругость, и пластичность, и умелость  
целебного самих себя обмана.

Часами я валяюсь, как тюлень,  
и делать неохота ничего;  
в доставшихся мне генах спала лень  
задолго до зачатия моего.

Цветение, зенит, апофеоз —  
обычно забывают про истоки,  
в которых непременно был навоз,  
отдавший им живительные соки.

Товарищ, верь: взойдет она,  
и будет свет в небесной выси;  
какое счастье, что луна  
от человеков не зависит!

О, как смущен бывает разум  
лихим соблазном расквитаться  
со всеми трудностями сразу,  
уйдя без писем и квитанций.

В сумерках закатного сознания

гаснет испаряющийся день,  
бережно хранят воспоминания  
эхо, отражение и тень.

Жил на ветру или теплично,  
жил как бурьян или полезно —  
к земным заслугам безразлична  
всеуравнительная бездна.

С азартом жить на свете так опасно,  
любые так рискованны пути,  
что понял я однажды очень ясно:  
живым из этой жизни – не уйти.

Когда последняя усталость  
мой день разрежет поперек,  
я ощутить успею жалость  
ко всем, кто зря себя берег.

Сегодня настроение осеннее,  
как будто истощился дух мой весь,  
но если после смерти воскресение  
не сказка, то хочу очнуться здесь.

В этой жизни, шальной и летящей,  
мало пил я с друзьями в пивных,  
но надеюсь, что видеться чаще  
нам достанется в жизнях иных.

Решит, конечно, высшая инстанция  
куда я после смерти попаду,  
но книги – безусловная квитанция  
на личную в аду сковороду.

А жаль, что на моей печальной тризне,  
припомнив легкомыслие мое,  
все станут говорить об оптимизме  
и молча буду слушать я вранье.

Струны натянувши на гитары,  
чувствуя горенье и напор,  
обо мне напишут мемуары  
те, кого не видел я в упор.

От воздуха помолодев,  
как ожидала и хотела,  
душа взлетает, похудев  
на вес оставленного тела.

Нам после смерти было б весело  
поговорить о днях текущих,  
но будем только мхом и плесенью,  
всего скорей, мы в райских кушах.

## **Улучшить человека невозможно, и мы великолепны безнадежно**

Угрюмый опыт долгих лет  
вращая в темноту —  
моей души спинной хребет,  
горбатый на свету.

Я живу, никого не виня,  
не взывая к судам и расплатам,  
много судей везде без меня,  
и достойнее быть адвокатом.

Есть сутки – не выдумать гаже,  
дурней, непробудней, темней,  
а жизнь продолжается – даже  
сквозь наши рыдания над ней.

Вампиров, упырей и вурдалаков  
я вижу часто в комнате жилой,  
и вкус у них повсюду одинаков:  
душевное тепло и дух живой.

Всегда приходят в мир учителя,  
несущие неслышный звон оков,  
и тьмой от них питается земля,  
и зло течет из их учеников.

Играя соками и жиром  
в корнях и семени,  
объем и тяжесть правят миром  
и дружат семьями.

Пристрастие к известным и великим  
рождается из чувства не напрасного:  
величие отбрасывает блики  
на всякого случайного причастного.

Вдоль житейской выщербленной трассы  
веет посреди и на обочинах  
запах жизнедеятельной массы  
прытких и натужно озабоченных.

Лепя людей, в большое зеркало  
Бог на себя смотрел из тьмы,  
и так оно Его коверкало,  
что в результате вышли мы.

Поскольку в наших душах много свинства  
и всяческой корысти примитивной,  
любое коллективное единство  
всегда чревато гнусью коллективной.

Подвержены мы горестным печалям  
по некой очень мерзостной причине:  
не радует нас то, что получаем,  
а мучает, что недополучили.

Разбираться прилежно и слепо  
в механизмах любви и вражды —  
так же сложно и столь же нелепо,  
как ходить по нужде без нужды.

Люди мелкие, люди великие  
(люди средние тоже не реже) —  
одичавшие хуже, чем дикие,  
ибо злобой насыщены свежей.

Пошлость неоглядно бесконечна,  
век она пронзает напролет,  
мы умрем, и нас она сердечно,  
с тактом и со вкусом отпоет.

В житейской озверелой суете  
поскольку преуспеть не всем дано,  
успеха добиваются лишь те,  
кто, будучи младенцем, ел гавно.

Беда, что в наших душах воспаленных  
все время, разъедая их, кипит  
то уксус от страстей неутоленных,  
то желчь из нерастаявших обид.

По замыслу Бога порядок таков,  
что теплится всякая живность,  
и если уменьшить число дураков —  
у них возрастает активность.

Нет сильнее терзающей горести,  
жарче муки и боли острей,  
чем огонь угрызения совести;

и ничто не проходит быстрее.

Всегда проистекают из того  
конфузы человеческого множества,  
что делается голосом его  
крикливая нахрапистость ничтожества.

Несобранный, рассеянный и праздный,  
газеты я с утра смотрю за чаем;  
политика – предмет настолько грязный,  
что мы ее прохвостам поручаем.

По дебрям прессы свежей  
скитаться я устал;  
век разума забрезжил,  
но так и не настал.

А вы – твердя, что нам уроками  
не служит прошлое, – не правы:  
что раньше числилось пороками,  
теперь – обыденные нравы.

Везде вокруг – шумиха, толкотня  
и наглое всевластие порока;  
отечество мое – внутри меня,  
и нету в нем достойного пророка.

Я думаю, что Бог жесток, но точен,  
и в судьбах, даже самых чрезвычайных,  
количество заслуженных пощечин  
не меньше, чем количество случайных.

Я насмотрелся столько всякого,  
что стал сильнее себя любить;  
на всей планете одинаково  
умеют нас употребить.

По праху и по грязи тек мой век,  
и рабством, и грехом отмечен путь,  
не более я был, чем человек,  
однако и не менее ничуть.

Днем кажется, что близких миллион  
и с каждым есть связующая нить,  
а вечером безмолвен телефон,  
и нам, по сути, некому звонить.

Не ведая притворства, лжи и фальши,  
без жалости, сомнений и стыда

от нас уходят дети много раньше,  
чем из дому уходят навсегда.

Увы, сколь коротки мгновения  
огня, игры и пиروвания;  
на вдох любого упоения  
есть выдох разочарования.

Есть люди – едва к ним зайдя на крыльцо,  
я тут же прощаюсь легко;  
в гостях – рубашонка, штаны и лицо,  
а сам я – уже далеко.

Он душою и темен, и нищ,  
а игра его – светом лучится:  
Божий дар неожидан, как прыщ,  
и на жопе он может случиться.

По вечной жизни побратимы  
и по изменчивой судьбе,  
разбой и ложь непобедимы,  
пока уверены в себе.

Ничуть не склонный к баловству  
трепаться все о высоком,  
неслышно корень поит соком  
многословесную листву.

Случай неожиданен, как выстрел,  
личность в этот миг видна до дна:  
то, что из гранита выбьет искру,  
выплеснет лишь брызги из гавна.

Что царь или вождь – это главный злодей,  
придумали низкие лбы:  
цари погубили не больше людей,  
чем разного рода рабы.

Добреют и смягчают времена,  
однако путь на свет совсем не прост,  
в нас рабство посеивает семена,  
которые свобода гонит в рост.

Простая истина нагая  
опасна тогам и котурнам:  
осел, культуру постигая,  
ослом становится культурным.

У всех по замыслу Творца —

своя ума и духа зона,  
житейский опыт мудреца —  
иной, чем опыт мудозвона.

Как бы счастье вокруг ни плясало,  
приглашая на вальс и канкан,  
а бесплатно в судьбе только сало,  
заряжаемое в капкан.

Мир бизнеса разумен и толков,  
художнику дает он пить и есть;  
причина поклонения волхвов —  
в боязни пропустить благую весть.

Рассудок мой всегда стоит на страже,  
поскольку – нет числа таким примерам —  
есть люди столь бездарные, что даже  
пытаются чужим ебаться хером.

Паскудство проступает из паскуды  
под самым незначительным нажимом;  
хоть равно все мы Божии сосуды,  
но разница – в залитом содержимом.

К игре в рубаху-парня-обаяшку  
не все мои знакомые годны:  
едва раскроют душу нараспашку,  
как мерзкие волосики видны.

В мире царствуют вездесущие,  
жарко щерящие пасть  
власть имевшие, власть имущие  
и хотящие эту власть.

От уксуса совести чахнут,  
кто грабит и крадет убого,  
но деньги нисколько не пахнут,  
когда их достаточно много.

Счастлив муж без боли и печали,  
друг удачи всюду и всегда,  
чье чело вовек не омрачали  
тени долга, чести и стыда.

Много начерно, то есть в чернилах,  
было черного людям предвидено,  
но никто сочинить был не в силах  
то, что век наш явил нам обыденно.

Не стоит на друзей смотреть сурово  
и сдержанность лелеять как профессию:  
нечаянное ласковое слово  
излечивает скрытую депрессию.

Удачу близко видя, шел я мимо,  
не разумом, а нюхом ощутив  
текущее за ней неуловимо  
зловоние блестящих перспектив.

Шальная от порывов скороспелых,  
душа непредсказуемо сложна,  
поэтому в расчисленных пределах  
неволя безусловно ей нужна.

В какой ни варится среде,  
азарт апломба так неистов,  
что не укрыть себя нигде  
от саблезубых гуманистов.

Я лишь от тех не жду хорошего,  
в ком видно сразу по лицу,  
что душу дьяволу задешево  
продал со скидкой на гнильцу.

Нелепым парадоксом озабочен  
я в темных ощущениях моих:  
боюсь я чистых праведников очень,  
и хочется грешить, увидя их.

Я не был отщепенец и изгой,  
во все играл со всеми наравне,  
но был неуловимо я другой,  
и в тягость это было только мне.

Хоть у века дорога крута,  
но невольно по ней мы влекомы;  
нас могла бы спасти доброта,  
только мы очень мало знакомы.

Незримый, невесомый, эфемерный —  
обманчив дух вульгарной простоты:  
способно вызвать взрыв неимоверный  
давление душевной пустоты.

Любой народ разнообразен  
во всем хорошем и дурном,  
то жемчуг выплеснет из грязи,  
то душу вымажет гавном.

Устройство мира столь непросто,  
что смотришь с горестью сиротства,  
как истекает от прохвоста  
спокойствие и превосходство.

Вражда развивает мой опыт,  
а лесть меня сил бы лишила,  
хотя с точки зрения жопы  
приятнее мыло, чем шило.

Жестоки с нами дети, но заметим,  
что далее на свет родятся внуки,  
а внуки – это кара нашим детям  
за нами перенесенные муки.

Ученье свет, а неучение —  
потемки, косность и рутина;  
из этой мысли исключение —  
образование кретина.

Мы живем то в беде, то в засранстве,  
мы туманим надеждами взор,  
роль Мессии витает в пространстве,  
но актеры – то срам, то позор.

Есть запахи у каждого лица,  
и пахнуть по-иному нет возможности:  
свой запах у плута, у подлеца,  
у глупости, у страха, у надежности.

У времени всегда есть обстоятельства  
и связанная логическая нить,  
чтоб можно было низкое предательство  
высокими словами объяснить.

Нету вкрадчивей, нету сочней,  
согревающей, словно вино,  
нет кислотней и нет щелочней,  
агрессивней среды, чем гавно.

Владея к наслаждению ключом,  
я славы и успеха не искал:  
в погоне за прожекторным лучом  
меняется улыбка на оскал.

Есть на свете странные мужчины:  
вовсе не сочатся злом и ядом,  
только духом дикой мертвечины

веее ниоткуда с ними рядом.

Я, дружа по жизни с разным сбродом,  
знал от паханов до низкой челяди:  
самым омерзительным народом  
были образованные нелюди.

Очень зябко – про нечто, что вечно,  
вдруг подумать в сомнении честном:  
глас народа – глас Божий, конечно,  
только пахнет общественным местом.

Наша разность – не в мечтаниях бесплотных,  
не в культуре и не в туфлях на ногах;  
человека отличает от животных  
постоянная забота о деньгах.

От выпивки в нас тает дух сиротства,  
на время растворяясь в наслаждении,  
вино в мужчине будит благородство  
и память о мужском происхождении.

Какие цепи мы ни сбросим,  
нам только делается хуже,  
свою тюрьму внутри мы носим,  
и клетка вовсе не снаружи.

Друг мой бедный, дитя современности,  
суеты и расчета клубок,  
знает цену, не чувствуя ценности,  
отчего одинок и убог.

Все книги об истории – поток,  
печальным утешением текущий,  
что век наш не беспочвенно жесток,  
а просто развивает предыдущий.

Всегда в разговорах и спорах  
по самым случайным вопросам  
есть люди, мышление которых  
запор сочетает с поносом.

Свободу я ношу в себе,  
а внешне – тих я и неловок  
в демократической борьбе  
несчетных банд и группировок.

Хотя повсюду царствует жлобство,  
есть личная заветная округа,

есть будничного быта волшебство  
и счастье от познания друг друга.

Мы сразу простимся с заботами  
и станем тонуть в наслаждении,  
когда мудрецы с идиотами  
сойдутся в едином суждении.

У нас весьма различны свойства,  
но есть одно у всех подряд:  
Господь нам дал самодовольство,  
чтоб мы не тратились на яд.

Всегда стремились люди страстно  
куда попало вон из темени  
в пустой надежде, что пространство  
освобождает нас от времени.

Умеренность, лекарства и диета,  
замашка опасаться и дрожать —  
способны человека сжить со света  
и заживо в покойниках держать.

Так Земля безнадежно кругла  
получилась под Божьей рукой,  
что на свете не сыщешь угла,  
чтоб найти там душевный покой.

Толпа людей – живое существо:  
и разум есть, и дух, и ток по нервам,  
и даже очень видно вещество,  
которое всегда всплывает первым.

Бал жизни всюду правит стая,  
где каждый занят личной гонкой,  
расчет и блядство сочетая  
в душе возвышенной и тонкой.

Незримая душевная ущербность  
рождает неосознанную прыть,  
питая ненасытную потребность  
себя заметным козырем покрыть.

Когда к публичной славе тянет личность,  
то всей своей судьбой по совокупности  
персона эта платит за публичность  
публичной репутацией доступности.

Ты был и есть в моей судьбе,

хоть был общенья срок недолог;  
я написал бы о тебе,  
но жалко – я не гельминтолог.

Не только воевали и злословили  
в течение столетия активного,  
еще всего мы много наготовили  
и для самоубийства коллективного.

Я очень пожилой уже свидетель  
того, что наши пафос и патетика  
про нравственность, мораль и добродетель —  
пустая, но полезная косметика.

Хотя, стремясь достигнуть и познать,  
мы глупости творили временами,  
всегда в нас было мужество признать  
ошибки, совершенные не нами.

Дети, вырастающие возле  
каждого седого поколения,  
думая об истине и пользе,  
травят нас без тени сожаления.

Являясь то открыто, то украдкой,  
но в каждом – и святом, и подлеце —  
сливаются на время жизни краткой  
творец, вампир и вор в одном лице.

Всегда вокруг родившейся идеи,  
сулящей или прибыль, или власть,  
немедленно клубятся прохиндеи,  
стараясь потеснее к ней припасть.

Судить людей я не мастак,  
поняв давным-давно:  
Бог создал человека так,  
что в людях есть гавно.

Враги мои, бедняги, нету дня,  
чтоб я вас не задел, мелькая мимо;  
не мучайтесь, увидевши меня:  
я жив еще, но это поправимо.

Должна воздать почет и славу нам  
толпа торгующих невежд:  
между пеленками и саваном  
мы снашиваем тьму одежд.

Мир нельзя изменить, нет резона проклясть,  
можно только принять и одобрить,  
утолить бытия воспаленную страсть  
и собой эту землю удобрить.

Когда без сожалений и усилий  
душа моя порхнет за небосклон —  
– Чего не шел? – спрошу я у Мессии.  
– Боялся там остаться, – скажет он.

## **В органах слабость, за коликой спазм, старость не радость, маразм не оргазм**

Забавы, утехи, рулады,  
азарты, застолья, подруги.  
Заборы, канавы, преграды,  
крушенья, угар и недуги.

Начал я от жизни уставать,  
верить гороскопам и пророчествам,  
понял я впервые, что кровать  
может быть прекрасна одиночеством.

Все курбеты, сальто, антраша,  
все, что с языка рекой текло,  
все, что знала в юности душа, —  
старости насущное тепло.

Глаза моих воспоминаний  
полны невыплаканных слез,  
но суть несбывшихся мечтаний  
размыло время и склероз.

Обновы превращаются в обноски,  
в руинах завершаются попытки,  
куражатся успехом недоноски,  
а душу греют мысли и напитки.

Утрачивает разум убеждения,  
теряет силу плоть, и дух линяет;  
желудок – это орган наслаждения,  
который нам последним изменяет.

Бог лично цедит жар и холод  
на дней моих пустой остаток,  
чтоб не грозил ни лютый голод,  
ни расслабляющий достаток.

Не из-за склонности ко злу,  
а от игры живого чувства  
любого возраста козлу  
любезна сочная капуста.

Красит лампа желтой бледностью  
лиц задумчивую вялость,  
скучно пахнет честной бедностью  
наша ранняя усталость.

Белый цвет летит с ромашки,  
вянет ум и обоняние,  
лишь у маленькой рюмашки  
не тускнеет обаяние.

Увы, красавица, как жалко,  
что не по мне твой сладкий пряник,  
ты персик, пальма и фиалка,  
а я давно уж не ботаник.

Смотрю на нашу старость с одобрением,  
мы заняты любовью и питьем;  
судьба нас так полила удобрением,  
что мы еще и пахнем, и цветом.

Глаза сдаются возрасту без боя,  
меняют восприятие зрачки,  
и розовое все, и голубое  
нам видится сквозь черные очки.

Из этой дивной жизни вон и прочь,  
копытами стуча из лета в осень,  
две лошади безумных – день и ночь  
меня безостановочно уносят.

Еще наш вид ласкает глаз,  
но силы так уже ослабли,  
что наши профиль и анфас —  
эфес, оставшийся от сабли.

Забавный органчик ютится в груди,  
играя меж разного прочего  
то светлые вальсы, что все впереди,  
то танго, что все уже кончено.

Есть в осени дыханье естества,  
пристойное сезону расставания,  
спадает повседневности листва,

и проступает ствол существования.

Того, что будет с нами впредь,  
уже сейчас легко достигнуть:  
с утра мне чтобы умереть —  
вполне достаточно подпрыгнуть.

Мне близко уныние старческих лиц,  
поскольку при силах убогих  
уже мы печальных и грустных девиц  
утешить сумеем немногих.

Временем без жалости соря,  
вертимся в метаниях пустых,  
словно на дворе еще заря,  
а не тени сумерек густых.

У старости моей просты приметы:  
ушла лихая чушь из головы,  
а самые любимые поэты  
уже мертвы.

Стало сердце покалывать скверно,  
стал ходить, будто ноги по пуду;  
больше пить я не буду, наверно,  
хоть и меньше, конечно, не буду.

К ночи слышней злоещее  
цоканье лет упорное,  
самая мысль о женщине  
действует как снотворное.

В душе моей не тускло и не пусто,  
и даму если вижу в неглиже,  
я чувствую в себе живое чувство,  
но это чувство юмора уже.

К любви я охладел не из-за лени,  
и, к даме попадая ночью в дом,  
упасть еще готов я на колени,  
но встать уже с колен могу с трудом.

Зря девки не глядят на стариков  
и лаской не желают ублажать:  
мальчишка переспит — и был таков,  
а старенький — не в силах убежать.

Когда любви нахлынет смута  
на стариковское спокойствие,

Бог только рад: мы хоть кому-то  
еще доставим удовольствие.

Мой век, журча сквозь дни и ночи,  
впитал жару, мороз, дожди;  
уже он спереди короче,  
зато длиннее позади.

И вышли постепенно, слава Богу,  
потратив много нервов и труда,  
на ровную и гладкую дорогу,  
ведущую к обрыву в никуда.

Время льется даже в тесные  
этажи души подвальные,  
сны мне стали сниться пресные  
и уныло односпальные.

В наслаждениях друг другом  
нам один остался грех:  
мы садимся тесным кругом  
и заводим свальный брех.

Вдруг то, что забытым казалось,  
приходит ко мне среди ночи,  
но жизни так мало осталось,  
что все уже важно не очень.

Я равнодушен к зовам улицы,  
я охладел под ливнем лет,  
и мне смешно, что пес волнуется,  
когда находит сучий след.

Время шло, и состарился я,  
и теперь мне отменно понятно:  
есть у старости прелесть своя,  
но она только старости внятна.

С увлечением жизни моей детектив  
я читаю, почти до конца проглотив;  
тут сюжет уникального кроя:  
сам читатель – убийца героя.

Друзья уже уходят в мир иной,  
сполна отгостевав на свете этом;  
во мне они и мертвые со мной,  
и пользуюсь я часто их советом.

Два пути у души, как известно:

яма в ад или в рай воспарение,  
ибо есть только два этих места,  
а чистилище – наше старение.

Ушел кураж, сорвался голос,  
иссяк фантазии родник,  
и, словно вялый гладиолус,  
тюльпан души моей поник.

Не придумаешь даже нарочно  
сны и мысли души обветшалой;  
от бессилия старость порочна  
много более юности шалой.

Усталость сердца и ума —  
покой души под Божьим взглядом;  
к уставшим истина сама  
приходит и садится рядом.

Отныне пью лишь молоко.  
Прости, Господь, за опоздание,  
но только старости легко  
дается самообуздание.

Томлением о скудости финансов  
не мучаюсь я, голову клоня;  
еще в моей судьбе немало шансов,  
но все до одного против меня.

Кипя, спеша и споря,  
состарились друзья,  
и пьем теперь мы с горя,  
что пить уже нельзя.

Я знаю эту пьесу наизусть,  
вся музыка до ноты мне известна:  
печаль, опустошенность, боль и грусть  
играют нечто мерзкое совместно.

Болтая и трепясь, мы не фальшивы,  
мы просто оскудению перечим;  
чем более мы лысы и плешивы,  
тем более кудрявы наши речи.

Подруг моих поблекшие черты  
бестактным не задену я вниманием,  
я только на увядшие цветы  
смотрю теперь с печальным пониманием.

То ли поумнел седой еврей:  
мира не исправишь все равно,  
то ли стал от возраста добрей,  
то ли жалко гнева на гавно.

Уже не люблю я витать в облаках,  
усевшись на тихой скамье,  
нужнее мне ножка цыпленка в руках,  
чем сон о копченой свинье.

Тихо выдохлась пылкость источника  
вожделений, восторгов и грез,  
восклицательный знак позвоночника  
изогнулся в унылый вопрос.

Весь день суетой загубя,  
плетусь я к усталому ужину,  
и вечером в куче себя  
уже не ищу я жемчужину.

Сейчас, когда смотрю уже с горы,  
мне кажется подъем намного краше:  
опасности азарт и риск игры  
расцвечивали смыслом жизни наши.

Читал, как будто шел пешком,  
и в горле ком набух;  
уже душа моя с брюшком,  
уже с одышкой дух.

Стареть совсем не больно и не сложно,  
не мучат и не гнут меня года,  
и только примириться невозможно,  
что прежним я не буду никогда.

Какая-то нечестная игра  
играется закатом и восходом:  
в пространство между завтра и вчера  
бесследно утекает год за годом.

Нет сил и мыслей, лень и вялость,  
а мир темнее и тесней,  
и старит нас не столько старость,  
как наши страхи перед ней.

Знаю старцев, на жизненном склоне  
коротающих тихие дни  
в том невидимом облаке вони,  
что когда-то издали они.

Кто уходит, роль не доиграв,  
словно из лампы вылив масло,  
знает лучше всех, насколько прав,  
ибо Божья искра в нем погасла.

Былое сплыло в бесконечность,  
а все, что завтра, – темный лес;  
лишь день сегодняшней и вечность  
мой возбуждают интерес.

Шепнуло мне прелестное создание,  
что я еще и строен, и удал,  
но с нею на любовное свидание  
на ровно четверть века опоздал.

Ушедшего былого тяжкий след  
является впоследствии нехоти,  
за легкость и беспечность юных лет  
мы платим с переплатой на закате.

Другим теперь со сцены соловьи  
поют в их артистической красе,  
а я лишь выступления свои  
хожу теперь смотреть, и то не все.

Уже мы стали старыми людьми,  
но столь же суетливо беспокойны,  
вступая с непокорными детьми  
в заведомо проигранные войны.

Течет сквозь нас река времен,  
кипя вокруг, как суп;  
был молод я и неумен,  
теперь я стар и глуп.

Поскольку в землю скоро лечь нам  
и отойти в миры иные,  
то думать надо ли о вечном,  
пока забавы есть земные?

То плоть загуляла, а духу невесело,  
то дух воспаряет, а плоть позабыта,  
и нету гармонии, нет равновесия —  
то чешутся крылья, то ноют копыта.

Погоревать про дни былые  
и жизнь, истекшую напрасно,  
приходят дамы пожилые

и мне внимают сладострастно.

Нет вовсе смысла втихомолку  
грустить, что с возрастом потух,  
но несравненно меньше толку  
на это жаловаться вслух.

В тиши на руки голову клоня,  
порою вдруг подумать я люблю,  
что время вытекает из меня  
и резво приближается к нулю.

Полон жизни мой жизненный вечер,  
я живу, ни о чем не скорбя;  
здравствуй, старость, я рад нашей встрече,  
я ведь мог и не встретить тебя.

Пришел я с возрастом к тому,  
что меньше пью, чем ем,  
а пью так мало потому,  
что бросил пить совсем.

С годами нрав мой изменился,  
я разлюбил пустой трезвон,  
я всем учтиво поклонился  
и отовсюду вышел вон.

Былое вдруг рыжею девкой  
мне в сердце вошло, как колючка,  
а разум шепнул мне с издевкой,  
что это той женщины – внучка.

Небо с годами заметнее в луже,  
время быстрее скользит по часам,  
с возрастом юмор становится глубже,  
ибо смешнее становишься сам.

Живу я очень тихо, но, однако,  
слежу игру других, не мельтеша;  
готова еще все поставить на кон  
моя седобородая душа.

Чтоб нам, как мальчишкам, валять дурака,  
еще не придумано средство;  
уже не телятина мясо быка,  
по старости впавшего в детство.

Дружил я в молодости ранней  
со всякой швалью и рваниной,

шампур моих воспоминаний  
весьма-весьма богат свиной.

Нам пылать уже вряд ли пристало;  
тихо-тихо нам шепчет бутылка,  
что любить не спеша и устало —  
даже лучше, чем бурно и пылко.

Не стареет моя подруга,  
хоть сейчас на экран кино,  
дует западный ветер с юга  
в наше северное окно.

На склоне лет на белом свете  
весьма уютно куковать,  
на вас поплевают дети,  
а всем и вовсе наплевать.

Был я молод, ходили с гитарой,  
каждой девке в ту пору был рад,  
а теперь я такой уже старый,  
что я снова люблю всех подряд.

Зимой глаза мои грустны  
и взорам дам не шлют ответа,  
я жду для этого весны,  
хотя не верю даже в лето.

Еще не помышляя об уходе,  
сохранному здоровью вопреки,  
готовясь к растворению в природе,  
погоду ощущают старики.

Здесь и там умирают ровесники,  
тают в воздухе жесты и лица,  
и звонят телефоны, как вестники,  
побоявшиеся явиться.

Люблю и надеюсь, покуда живой,  
и ярость меняю на нежность,  
и дышит на душу незримый конвой —  
безвыходность и неизбежность.

Умрет сегодня-завтра близкий друг;  
естественна, как жизнь, моя беда,  
но дико осознание, что вдруг  
нас нечто разлучает навсегда.

Не отводи глаза, старея,

нельзя незрячим быть к тому,  
что смерть – отнюдь не лотерея,  
а просто очередь во тьму.

Такие бывают закаты на свете,  
такие бывают весной вечера,  
что жалко мне всех, разминувшихся с этим  
и умерших ночью вчера.

Каков понесенный урон  
и как темней вокруг,  
мы только после похорон  
понять умеем вдруг.

Только что вчера ты девку тискал,  
водку сочно пил под огурец,  
а уже ты вычеркнут из списка,  
и уже отправился гонец.

Подвергнув посмертной оценке  
судьбу свою, душу и труд,  
я стану портретом на стенке,  
и мухи мой облик засрут.

Прочтите надо мной мой некролог  
в тот день, когда из жизни уплыву;  
возвышенный его услыша слог,  
я, может быть, от смеха оживу.

Лечит и хандру, и тошноту  
странное, но действенное средство:  
снова дарит жизни полноту  
смерти недалекое соседство.

В загадках наших душ и мироздания  
особенно таинственно всегда,  
что в нас острее тоска от увядания,  
чем страх перед уходом в никуда.

Поскольку наш век возмутительно краток,  
я праздную каждый свой день как удачу;  
и смерти достанется жалкий остаток  
здоровья, которое сам я растрочу.

В узком ящике ляжем под крышкой,  
чуть собака повоет вослед,  
кот утешится кошкой и мышкой,  
а вдову пожалеет сосед.

Еще задолго до могилы  
спокойно следует понять,  
что нам понадобятся силы,  
чтобы достойно смерть принять.

Мне жаль, что в оперетте панихидной,  
в ее всегда торжественном начале  
не в силах буду репликой ехидной  
развеять обаяние печали.

## **Усовершенствуя плоды любимых дум, косится набекрень печальный ум**

Люди воздух мыслями копят  
многие столетья год за годом,  
я живу в пространстве из цитат  
и дышу цитатным кислородом.

Высокие мысли и низкие  
вливают в меня свои соки,  
но мысли, душевно мне близкие,  
обычно весьма невысоки.

Поэзия краткая больше близка мне —  
чтоб мысли неслись напролет,  
как будто стихи высекаешь на камне  
и очень рука устает.

Листаю стихи, обоняя со скуки  
их дух – не крылатый, но птичий;  
есть право души издавать свои звуки,  
но есть и границы приличий.

Во мне приятель веру сеял  
и лил надежды обольщение,  
и столько бодрости навеял,  
что я проветрил помещение.

Когда нас учит жизни кто-то,  
я весь немею;  
житейский опыт идиота  
я сам имею.

Из ничего вкушая сладость,  
блажен мечтательный поэт,  
переживать умея радость  
от неслучившихся побед.

Вовсе не отъявленная бестия  
я умом и духом, но однако —  
видя столп любого благочестия,  
ногу задираю, как собака.

Пускаюсь я в пространство текста,  
плетя строки живую нить, —  
как раб, кидающийся в бегство,  
чтобы судьбу переменить.

А вера в Господа моя —  
сестра всем верам:  
пою Творцу молитвы я  
пером и хером.

Весь век понукает невидимый враг нас  
бумагу марать со слепым увлечением;  
поэт – не профессия, это диагноз  
печальной болезни с тяжелым течением.

Слегка криминально мое бытие,  
но незачем дверь запираю на засов,  
умею украсть я лишь то, что мое:  
я ветер ворую с чужих парусов.

Кому расскажешь о густом  
и неотвязном страхе мглистом  
перед натянутым холстом  
и над листом бумаги чистым?

Живопись наружно так проста,  
что уму нельзя не обмануться,  
но к интимной пластике холста  
можно только чувством прикоснуться.

Вчера я с горечью подумал,  
что зря слова на лист сажаю:  
в текущей жизни столько шума,  
что зря его я умножаю.

Чтобы слушать любого поэта,  
мне хватает и сил, и терпения,  
и меня уважают за это  
виртуозы фальшивого пения.

Твоих убогих слов ненужность  
и так мне кажется бесспорной,  
но в них видна еще натужность,

скорей уместная в уборной.

Ночью проснешься и думаешь грустно:  
люди коварны, безжалостны, злы,  
всюду кипит ремесло и искусство,  
душат долги и не мыты полы.

Чтоб сочен и весел был каждый обед,  
бутылки поставь полукругом,  
а чинность, и чопорность, и этикет  
пускай подотрутся друг другом.

Лишь то, что Богу по плечу,  
весь век прошу я на бегу:  
чтобы я мог, чего хочу  
и чтоб хотел я, что могу.

Портили глаза и гнули спины,  
только все не впрок и бесполезно,  
моего невежества глубины —  
энциклопедическая бездна.

Как жить, утратя смысл и суть?  
Душа не скажет, замолчала.  
Глотни вина, в толпе побудь,  
вернись и все начни сначала.

По каменному тексту городов  
скользя, как по листаемым страницам,  
я чувствую везде, что не готов  
теперь уже нигде остановиться.

Скорее все же для потомка,  
а не для нас  
пишу усердно я о том, как  
пылал и гас.

Душа не потому ли так тоскует,  
что смутно ощущает мир иной,  
который где-то рядом существует,  
окрашивая смыслом быт земной?

А на небе не тесно – поверьте —  
от почтенных, приличных и лысых,  
потому что живут после смерти  
только те, кто при жизни не высох.

Нас как бы судьба ни коверкала,  
кидая порой наповал,

а мне собеседник из зеркала  
всегда с одобреньем кивал.

Не Божьей искры бытие,  
не дух я славлю в восхищении,  
а воспеваю жизнь в ее  
материальном воплощении.

За то греху чревоугодия  
совсем не враг я, а напротив,  
что в нем есть чудная пародия  
на все другие страсти плоти.

Я люблю, когда грустный некто  
под обильное возлияние  
источает нам интеллекта  
тухловатое обаяние.

Мне жалко всех, кого в азарте  
топтал я смехом на заре, —  
увы, но кротость наша в марте  
куда слабей, чем в октябре.

Всегда живя в угрюмом недоверии,  
испытывая страха нервный зуд,  
микроб не на бациллы и бактерии,  
микроб на микроскоп имеет зуб.

Грешил я с наслаждением и много,  
и странная меня постигла мука:  
томит меня не совесть и не скука,  
а темная душевная изжога.

Я много съел восточных блюд,  
и вид пустыни мне привычен,  
я стал задумчив, как верблюд,  
и, как осел, меланхоличен.

Восхищенные собственным чтением,  
два поэта схлестнули рога,  
я смотрю на турнир их с почтением,  
я люблю тараканьи бега.

Стихов его таинственная пошлость  
мне кажется забавной чрезвычайно,  
звуча, как полнозвучная оплошность,  
допущенная в обществе случайно.

Устав от накала дневного горения,

к подушке едва прикоснувшись,  
я сплю, как Творец после акта творения,  
и так же расстроен, проснувшись.

Жалеть ли талант, если он  
живет как бы в мире двойном  
и в чем-то безмерно умен  
и полный мудак в остальном?

Гетера, шлюха, одалиска —  
таят со мной родство ментальное,  
искусству свойственно и близко  
их ремесло горизонтальное.

Снимать устав с роскошных дев  
шелка, атласы и муары,  
мы, во фланель зады одев,  
изводим страсть на мемуары.

Мне забавна в духе нашем пошлом  
страсть к воспоминаниям любым;  
делается все, что стало прошлым,  
розовым и светло-голубым.

Настолько он изношен и натружен,  
что вышло ему время отдохнуть,  
уже венки из лавров им заслужен —  
хотя и не на голову отнюдь.

Жизнь моя на севере текла,  
я в жару от холода бежал;  
время, расширяясь от тепла,  
очень удлиняет жизнь южан.

В момент обычно вовсе не торжественный  
вдруг чувствуешь с восторгом идиота  
законченность гармонии Божественной,  
в которой ты – естественная нота.

У нас, коллега, разные забавы,  
мы разными огнями зажжены:  
тебе нужна утеха шумной славы,  
а мне – лишь уважение жены.

Я не измыслил весть благоую  
и план, как жить, не сочинил,  
я что придумал – тем торгую,  
и свет сочится из чернил.

Читатель нам – как воздух и вода,  
читатель в нас поддерживает дух;  
таланту без поклонников – беда,  
беда, что у людей есть вкус и слух.

Гул мироздания затих,  
и, слово к ритму клея тонко,  
я вновь высиживаю стих,  
как утка – гадкого утенка.

Если жизни время сложное  
проживаешь с безмятежностью,  
то любое невозможное  
наступает с неизбежностью.

Залей шуршанье лет журчаньем алкоголя,  
поскольку, как давно сказал поэт,  
на свете счастья нет, но есть покой и воля,  
которых, к сожаленью, тоже нет.

Полностью душа моя чиста,  
чужды ей волнение и метание.  
кто привел на новые места,  
тот и ниспошлет мне пропитание.

Люблю часы пустых томлений,  
легко лепя в истоме шалой  
плоды расслабленности, лени  
и любознательности вялой.

В похмельные утра жестокие  
из мути душевной являлись  
мне мысли настолько глубокие,  
что тут же из виду терялись.

Питали лучшие умы  
мою читательскую страсть,  
их мысли глупо брать взаймы,  
а предпочтительнее – красть.

В искусстве, сотворяемом серьезно  
и честно от начала до конца, —  
что крупно, то всегда религиозно  
и дышит соучастием Творца.

Под сенью тихоструйных облаков  
на поле благозвучных услаждений  
я вырастил породу сорняков,  
отравных для культурных насаждений.

Я в шуме времени кипящем  
купался тайном и публичном,  
но жил с азартом настоящим  
я только в шелесте страничном.

Он вялую гонит – волну за волной —  
унылую мелкую муть:  
Господь одарил его певчей струной,  
забыв эту нить натянуть.

Ругал эпоху и жену,  
искал борьбы, хотел покоя,  
понять умом одну страну  
грозился ночью с перепоя.

Почувствовав тоску в родном пространстве,  
я силюсь отыскать исток тоски:  
не то повеял запах дальних странствий,  
не то уже пора сменить носки.

Когда успех и слава  
обнять готовы нас,  
то плоть уже трухлява,  
а пыл уже погас.

Он талант, это всем несомненно,  
пишет сам и других переводит,  
в голове у него столько сена,  
что Пегас от него не отходит.

То злимся мы, то мыслим тонко,  
но вплоть до смертного конца  
хлопочем высидеть цыпленка  
из выеденного яйца.

Во все, что я пишу, для аромата  
зову простую шутку-однодневку,  
а яркая расхожая цитата —  
похожа на затрепанную девку.

Беспечный чиж с утра поет,  
а сельдь рыдает – всюду сети;  
мне хорошо, я идиот,  
а умным тяжело жить на свете.

Весь мир наших мыслей и знаний —  
сеть улиц в узлах площадей,  
где бродят меж тенями зданий

болтливые тени людей.

Я б жил, вообще ни о чем не жалея,  
но жаль – от житейской возни худосочной  
в душе стало меньше душевного клея,  
и близость с людьми стала очень непрочной.

Пока нас фортуна хранит,  
напрасны пустые гадания,  
и внешне похож на зенит  
расцвет моего увядания.

Во мне, живущем наобум,  
вульгарных мыслей соки бродят,  
а в ком кипит высокий ум —  
они с него и легче сходят.

Люблю с подругой в час вечерний  
за рюмкой душу утолить:  
печаль – отменный виночерпий  
и знает, сколько нам налить.

Дожив до перелома двух эпох,  
на мыслях мельтешных себя ловлю,  
порывы к суете ловлю, как блох,  
и сразу с омерзением давлю.

Читаю оду и сонет,  
но чую дух души бульдожьей;  
не Божьей милостью поэт,  
а скудной милостыней Божьей.

Я вчера полистал мой дневник,  
и от ужаса стало мне жарко:  
там какой-то мой тухлый двойник  
пишет пошлости нагло и жалко.

Доколе дух живой вершит пиры,  
кипит игра ума и дарования,  
поэзия, в которой нет игры, —  
объедки и огрызки пирования.

Глупо думать про лень негативно  
и надменно о ней отзываться:  
лень умеет мечтать так активно,  
что мечты начинают сбываться.

Пот познавательных потуг  
мне жизнь не облегчил,

я недоучка всех наук,  
которые учил.

Увы, в отличие от птиц,  
не знаю, сидя за столом,  
что вылупится из яиц,  
насиженных моим теплом.

Даже вкалывай дни и ночи,  
не дождусь я к себе почтения,  
ибо я подвизаюсь в очень  
трудном жанре легкого чтения.

Держу стакан, точу перо,  
по веку дует ветер хлесткий;  
ни зло не выбрав, ни добро,  
живу на ихнем перекрестке.

И я хлебнул из чаши славы,  
прильнув губами жадно к ней;  
не знаю слаще я отравы,  
и нет наркотика сильней.

Глупо гнаться, мой пишуший друг,  
за читательской влагой в глазу —  
все равно нарезаемый лук  
лучше нас исторгает слезу.

Он воплотил свой дар сполна,  
со вдохновеньем и технично  
вздувая волны из гавна,  
изготавливаемого лично.

Душевный чувствуя порыв,  
я чересчур не увлекаюсь:  
к высотам духа воспарив,  
я с них обедать опускаюсь.

Что столь же я наивен – не жалею,  
лишаться обольщений нам негоже:  
иллюзии, которые лелею, —  
они ведь и меня лелеют тоже.

Нет, я на лаврах не почил,  
верша свой труд земной:  
ни дня без строчки – как учил  
меня один портной.

Жили гнусно, мелко и блудливо,

лгали и в стихе, и в жалкой прозе;  
а в раю их ждали терпеливо —  
райский сад нуждается в навозе.

Печалью, что смертельна жизни драма,  
окрашена любая песня наша,  
но теплится в любой из них упрямо  
надежда, что минует эта чаша.

На собственном огне горишь дотла,  
но делается путь горяч и светел,  
а слава – это пепел и зола,  
которые потом развеет ветер.

Меня любой прохожий чтобы помнил,  
а правнук справедливо мной гордился,  
мой бюст уже лежит в каменоломне,  
а скульптор обманул и не родился.

Очень важно, приблизившись вплоть  
к той черте, где уносит течение,  
твердо знать, что исчерпана плоть,  
а душе предстоит приключение.

Люблю стариков – их нельзя не любить,  
мне их отрешенность понятна:  
душа, собираясь навеки отбыть,  
поет о минувшем невнятно.

К пустым о смысле жизни бредням  
влекусь, как бабочка к огню,  
кружусь вокруг и им последним  
на смертной грани изменю.

Чтобы будущих лет поколения  
не жалели нас, вяло галдя,  
все мосты над рекою забвения  
я разрушил бы, в ночь уходя.

Вонзится в сердце мне игла,  
и вмиг душа вспорхнет упруго;  
спасибо счастью, что была  
она во мне, – прощай, подруга.

*1993 год*

## Третий иерусалимский дневник

*Я лодырь, лентяй и растяпа,  
но вмиг, если нужен я вдруг,  
на мне треугольная шляпа  
и серый походный сюртук.*

### **Все, конечно, мы братья по разуму, только очень какому-то разному**

Мы проживали не напрасно  
свои российские года,  
так бескорыстно и опасно  
уже не жить нам никогда.

Идеи равенства и братства  
хотя и скисли,  
но очень стыдно за злорадство  
при этой мысли.

Наш век имел нас так прекрасно,  
что мы весь мир судьбой пленяли,  
а мы стонали сладострастно  
и позу изредка меняли.

По счастью, все, что омерзительно  
и душу гневом бередит,  
не существует в мире длительно,  
а мерзость новую родит.

Не мне играть российскую игру,  
вертась в калейдоскопе черных пятен,  
я вжился в землю предков, тут умру,  
но дым оттуда горек и понятен.

Напрасно горячимся мы сегодня,  
желая все понять без промедлений,  
для истины нет почвы плодородней,  
чем несколько истлевших поколений.

Вовек я власти не являл  
ни дружбы, ни вражды,  
а если я хвостом вилял —  
то заметал следы.

Сейчас полны гордыни те,

кто, ловко выбрав час и место,  
в российской затхлой духоте  
однажды пукнул в знак протеста.

Родом я не с рынка, не с вокзала,  
я с тончайшей нежностью знаком,  
просто нас эпоха облизала  
лагерным колючим языком.

Покуда мы живем, на мир ворча  
и вглядываясь в будущие годы,  
текут меж нас, неслышимо журча,  
истории подпочвенные воды.

Я жизнь без пудры и прикрас  
и в тех местах, где жить опасно,  
вплотную видел много раз —  
она и там была прекрасна.

Как тающая льдина, уплывает  
эпоха, поглотившая наш век,  
а новая и знать уже не знает  
растерянных оставшихся калек.

Вор хает вора возмущенно,  
глухого учит жить немой,  
галдят слепые восхищенно,  
как ловко бегают хромой.

Кто ярой ненавистью пышет,  
о людях судя зло и резко, —  
пусть аккуратно очень дышит,  
поскольку злоба пахнет мерзко.

Нас много лет употребляли,  
а мы, по слабости и мелкости,  
послушно гнулись, но страдали  
от комплекса неполноценности.

В нас никакой избыток знаний,  
покрыв очков-носков-перчаток  
не скроет легкий обезьяний  
в лице и мыслях отпечаток.

Все доступные семечки лузгая,  
равнодушна, глуха и слепа,  
в парках жизни под легкую музыку  
одинокая бродит толпа.

Мне не свойственно стремление  
знать и слышать сводку дня,  
ибо времени давление —  
кровяное у меня.

Владеть гавном – несложный труд  
и не высокая отрада:  
гавно лишь давят или мнут,  
а сталь – и жечь, и резать надо.

Питомцам русского гнезда,  
нам от любых душевных смут  
всего целебнее узда  
и жесткой выделки хомут.

Бес маячит рядом тенью тощей,  
если видит умного мужчину:  
умного мужчину много проще  
даром соблазнить на бесовщину.

Загадочно в России бродят дрожжи,  
все связи стали хрупки или ржавы,  
а те, кто жаждет взять бразды и вожжи,  
страдают недержанием державы.

По дряхлости скончался своевременно  
режим, из жизни сделавший надгробие;  
российская толпа теперь беременна  
мечтой родить себе его подобие.

Текут по всей Руси речей ручьи,  
и всюду на ораторе печать  
умения проигрывать ничьи  
и проигрыш банкетом отмечать.

В раскаленной скрытой давке  
увлекаясь жизни пиром,  
лестно маленькой пиявке  
слыть и выглядеть вампиром.

Мы пережили, как умели,  
эпоху гнусной черноты,  
но в нас навек закаменели  
ее проклятые черты.

Российская империя нам памятна,  
поэтому и гнусно оттого,  
что бывшие блюстители фундамента  
торгуют кирпичами из него.

Видимо, в силу породы,  
ибо всегда не со зла,  
курица русской свободы  
тухлые яйца несла.

От ветра хлынувшей свободы,  
хотя колюч он и неласков,  
томит соблазн пасти народы  
всех пастухов и всех подпасков.

По воле здравого рассудка  
кто дал себя употреблять —  
гораздо чаще проститутка,  
чем нерасчетливая блядь.

Россия ко всему, что в ней содеется,  
и в будущем беспечно отнесется;  
так дева, забеременев, надеется,  
что все само собою рассосется.

Вокруг березовых осин  
чертя узор хором воздушных,  
всегда сколотит сукин сын  
союз слепых и простодушных.

Уже вдевает ногу в стремя  
тот некто в сером, кто опять  
поворотить в России время  
попробует во тьму и вспять.

И понял я за много лет,  
чем доля рабская чревата:  
когда сгибается хребет —  
душа становится горбата.

Живу я, свободы ревнитель,  
весь век искушая свой фарт;  
боюсь я, мой ангел-хранитель  
однажды получит инфаркт.

Легко на примере России  
понять по прошествии лет,  
что в мире темней от усилий  
затеплить искусственный свет.

Темны российские задворки,  
покрыты грязью всех столетий,  
но там рождаются поговорки,

которых нет нигде на свете.

Российская жива идея-фикс,  
явились только новые в ней ноты,  
поскольку дух России, темный сфинкс,  
с загадок перешел на анекдоты.

Выплескивая песни, звуки, вздохи,  
затворники, певцы и трубачи —  
такие же участники эпохи,  
как судьи, прокуроры, палачи.

Российской власти цвет и знать  
так на свободе воскипели,  
что стали с пылом продавать  
все, что евреи не успели.

Мы потому в России жили,  
высокий чувствуя кураж,  
что безоглядно положили  
свой век и силы на мираж.

Охвостье, отребье, отбросы,  
сплоченные общей кутузкой,  
курили мои папиросы,  
о доле беседа русской.

Этот трактор в обличье мужчины  
тоже носит в себе благодать;  
человек совершенной машины,  
ибо сам себя может продать.

Кто сладко делает кулич,  
принадлежит к особой касте,  
и все умельцы брить и стричь  
легко стригут при всякой власти.

Конечно, это горько и обидно,  
однако долгой жизни под конец  
мне стало совершенно очевидно,  
что люди происходят от овец.

Кто в годы рабства драться лез,  
тому на воле стало хуже:  
пройдя насквозь горящий лес,  
ужасно больно гибнуть в луже.

Смотреть на мир наш объективно,  
как бы из дальней горной рощи —

хотя не менее противно,  
но безболезненной и проще.

По Божьему соизволению  
и сути свойства, нам присущего,  
дано любому поколению  
насрать на мысли предыдущего.

Надеюсь, я коллег не раню,  
сказав о нашей безнадежности,  
поскольку Пушкин слушал няню,  
а мы – подонков разной сложности.

Российский жребий был жестоко  
однажды брошен волей Бога:  
немного западней Востока,  
восточней Запада – намного.

Наш век настолько прихотливо  
свернул обычный ход истории,  
что, очевидно, музу Клио  
потраhal бес фантазмагории.

Возложить о России заботу  
всей России на Бога охота,  
чтоб оставить на Бога работу  
из болота тащить бегемота.

Что говорит нам вождь из кучи,  
оплошно вляпавшись туда?  
Что всей душой хотел как лучше,  
а вышло снова как всегда.

Все споры вспыхнули опять  
и вновь текут, кипя напрасно;  
умом Россию не понять,  
а чем понять – опять неясно.

Наших будней мелкие мытарства,  
прихоти и крахи своеволия —  
горше, чем печали государства,  
а цивилизации – тем более.

На свете ни единому уму,  
имевшему учительскую прыть,  
глаза не удалось открыть тому,  
кто сам не собирался их открыть.

Святую проявляя простоту,

не думая в тот миг, на что идет,  
всю правду говорит начистоту  
юродивый, пророк и идиот.

История бросками и рывками  
эпохи вытрясает с потрохами,  
и то, что затевало жить веками,  
внезапно порастает лопухами.

Хоть очень разны наши страсти,  
но сильно схожи ожидания,  
и вождь того же ждет от власти,  
что ждет любовник от свидания.

Когда кипят разбой и блядство  
и бьются грязные с нечистыми,  
я грустно думаю про братство,  
воспетое идеалистами.

Опасностей, пожаров и буранов  
забыть уже не может ветеран;  
любимая услада ветеранов —  
чесание давно заживших ран.

А жалко порою мне время то гнусное,  
другого уже не случится такого,  
то подлое время, крутое и тусклое,  
где стойкость полна была смысла тугого.

В те года, когда решенья просты  
и все беды – от поступков лихих,  
очень часто мы сжигаем мосты,  
сами только что ступивши на них.

Справедливость в людской кутерьме  
соблюдает природа сама:  
у живущих себе на уме —  
сплошь и рядом нехватка ума.

Есть в речах политиков унылых  
много и воды, и аргументов,  
только я никак понять не в силах,  
чем кастраты лучше импотентов.

Всюду запах алчности неистов,  
мечаемся, на гонку век ухлопав;  
о, как я люблю идеалистов,  
олухов, растяп и остолопов!

Поет восторженно и внятно  
душа у беглого раба  
от мысли, как безрезультатно  
за ним охотилась судьба.

Забавно туда приезжать, как домой,  
и жить за незримой межой;  
Россия осталась до боли родной  
и стала заметно чужой.

За раздор со временем лихим  
и за годы в лагере на нарах  
долго сохраняется сухим  
порох в наших перчницах старых.

А то, что мы подонками не стали  
и как мы безоглядно рисковали, —  
ничтожные житейские детали,  
для внуков интересные едва ли.

То ли мы чрезмерно много пили,  
то ли не хватило нам тепла,  
только на потеху энтропии  
мимо нас эпоха потекла.

За проволокой всех систем,  
за цепью всех огней  
нужна свобода только тем,  
в ком есть способность к ней.

Уже настолько дух наш косный  
с Россией связан неразлучно,  
что жить нам тягостно и постно  
повсюду, где благополучно.

Эпоха нас то злит, то восхищает,  
кипучи наши ярость и экстаз,  
и все это бесстрастно поглощает  
истории холодный унитаз.

Мы сделали изрядно много,  
пока по жизни колбасились,  
чтобы и в будущем до Бога  
мольбы и стоны доносились.

Я бы многое стер в тех давнишних следах,  
только свежее чувство горчит;  
мне плевать на того, кто галдит о жидях,  
но загадочны те, кто молчит.

России вновь дают кредит,  
поскольку все течет,  
а кто немножко был убит —  
они уже не в счет.

Густы в России перемены,  
но чуда нет еще покуда;  
растут у многих партий члены,  
а с головами очень худо.

В гиблой глине нас долго месили,  
загоняя в грунтовую твердь,  
мы – последние сваи России,  
пережившие верную смерть.

Русское грядущее прекрасно,  
путь России тяжек, но высок;  
мы в гавне варились не напрасно,  
жалко, что впитали этот сок.

## **Поскольку истина – в вине, то часть ее уже во мне**

Чтоб я не жил, сопя натужно,  
устроил Бог легко и чудно,  
что все ненужное мне трудно,  
а все, что трудно, мне не нужно.

Когда, пивные сдвинув кружки,  
мы славим жизни шевеление,  
то смотрят с ревностью подружки  
на наших лиц одушевление.

Дух России меня приголубил,  
дал огранку, фасон и чекан,  
там я первую рюмку пригубил,  
там она превратилась в стакан.

Совместное и в меру возлияние  
не только от любви не отвращает,  
но каждое любовное слияние  
весьма своей игрой обогащает.

Любви горенье нам дано  
и страсти жаркие причуды,  
чтобы холодное вино  
текло в нагретые сосуды.

Да, мне умерить пыл и прыть  
пора уже давно;  
я пить не брошу, но курить  
не брошу все равно.

Себя я пьянством не разрушу,  
ибо при знании предела  
напитки льются прямо в душу,  
оздоравливая этим тело.

Я понял, чем я жил все годы  
и почему не жил умней:  
я раб у собственной свободы  
и по-собачьи предан ей.

Дух мой растревожить невозможно  
денежным смутительным угаром,  
я интеллигентен безнадежно,  
я употребляюсь только даром.

Когда к тебе приходит некто,  
духовной жаждою томим,  
для утоленья интеллекта  
распей бутылку молча с ним.

Хотя весь день легко и сухо  
веду воздержанные речи,  
внутри себя пустыню духа  
я орошаю каждый вечер.

Цветок и садовник в едином лице,  
я рюмке приветно киваю  
и, чтобы цветок не увял в подлеце,  
себя изнутри поливаю.

Поскольку склянка алкоголя —  
стекляшка вовсе не простая,  
то, как только она пустая, —  
в душе у нас покой и воля.

Оставив дикому трамваю  
охоту мчать, во тьме светясь,  
я лежа больше успеваю,  
чем успевал бы, суетсяь.

Я сам растил себя во мне,  
давно поскольку знаю точно,  
что обретенное извне

и ненадежно, и непрочно.

Чтоб жить разумно (то есть бледно)  
и максимально безопасно,  
рассудок борется победно  
со всем, что вредно и прекрасно.

Душевно я вполне еще здоров,  
и съест меня тщеславию невмочь,  
я творческих десятков вечеров  
легко отдам за творческую ночь.

Да, выпив, я валяюсь на полу,  
да, выпив, я страшной садовых пугал;  
но врут, что я ласкал тебя в углу —  
по мне, так я ласкал бы лучше угол.

Во мне убого сведений меню,  
не знаю я ни фактов, ни событий,  
но я свое невежество ценю  
за радость неожиданных открытий.

Насмешлив я к вождям, старухам,  
пророчествам и чудесам,  
однако свято верю слухам,  
которые пустил я сам.

Я свои пути стелю полого,  
мне уютна лени колея:  
то, что невозможно, – дело Бога,  
что возможно – сделаю не я.

Когда выпили, нас никого  
не пугает судьбы злополучие,  
и плевать нам на все, до чего  
удается доплюнуть при случае.

В чужую личность мне не влезть,  
а мной не могут быть другие,  
и я таков, каков я есть,  
а те, кто лучше, – не такие.

Без жалости я трачу много дней,  
распутывая мысленную нить;  
я истину ловлю, чтобы над ней  
немедленно насмешку учинить.

Мы вовсе не грешим, когда пируем,  
забыв про все стихии за стеной,

а мудро и бестрепетно воруем  
дух легкости у тяжести земной.

Умным быть легко, скажу я снова  
к сведению новых поколений;  
глупость надо делать – это слово  
дико для моей отпетой лени.

Хотя, погрязший в алкоголе,  
я по-житейски сор и хлам,  
но съем последний хер без соли  
я только с другом пополам.

Мы стали подозрительны, суровы,  
изверились в любой на свете вере,  
но моцарты по-прежнему готовы  
пить все, что наливают им сальери.

Душа порой бывает так задета,  
что можно только выть или орать;  
я плюнул бы в ранимого эстета,  
но зеркало придется вытирать.

К лесты, комплинтам и успехам  
(сладостным ручьем они вливаются)  
если относиться не со смехом —  
важные отверстия слипаются.

Так верил я всегда в мою везучесть,  
беспечно соблазняясь авантюрой,  
что мне любая выпавшая участь  
оказывалась к фарту увертюрой.

Не каждый в житейской запарке  
за жизнь успеваеа понять,  
что надо менять зоопарки,  
театры и цирки менять.

Зачем же мне томиться и печалиться,  
когда по телевизору в пивной  
вчера весь вечер пела мне красавица,  
что мысленно всю ночь она со мной?

Клевал я вяло знаний зерна,  
зато весь век гулял активно  
и прожил очень плодотворно,  
хотя весьма непродуктивно.

Для жизни шалой и отпетой

день каждый в утренней тиши  
творяет нам кофе с сигаретой  
реанимацию души.

Затворника и чистоплюя  
в себе ценя как достижение,  
из шума времени леплю я  
своей души изображение.

Ошибки, срывы, согрешения —  
в былом, и я забыл о них,  
меня волнует предвкушение  
грядущих глупостей моих.

Кажется мне, жизни под конец,  
что устроил с умыслом Творец,  
чтобы человеку было скучно  
очень долго жить благополучно.

Искра Божия не знает,  
где назначено упасть ей,  
и поэтому бывает  
Божий дар душе в несчастье.

Как будто смерти вопреки  
внезапно льется струйка света  
и воздуха с живой строки  
давно умершего поэта.

Вокруг везде роскошества природы  
и суетности алчная неволя;  
плодятся и безумствуют народы;  
во мне покой и много алкоголя.

Умеет так воображение  
влиять на духа вещество,  
что даже наше унижение  
преобразует в торжество.

Не слушая судов и пересудов,  
настаиваю твердо на одном:  
вместимость наших умственных сосудов  
растет от полоскания вином.

Был томим я, был палим и гоним,  
но не жалуясь, не плачу, не злюсь,  
а смеюсь я горьким смехом моим  
и живу лишь потому, что смеюсь.

Нет, я в делах не тугодум,  
весьма проста моя замашка:  
я поступаю наобум,  
а после мыслю, где промашка.

Я б рад работать и трудиться,  
я чужд надменности пижонской,  
но слишком портит наши лица  
печать заезженности конской.

Не темная меня склоняла воля  
к запою после прожитого дня:  
я больше получал от алкоголя,  
чем пьянство отнимало у меня.

Хоть я философ, но не стоик,  
мои пристрастия не интимны:  
когда в пивной я вижу столик,  
моя душа играет гимны.

Питаю к выпивке любовь я,  
и мух мой дым табачный косит,  
а что полезно для здоровья,  
мой организм не переносит.

Мне чужд Востока тайный пламень,  
и я бы спятил от тоски,  
век озирая голый камень  
и созерцая лепестки.

Во многих веках и эпохах,  
меня земные тела,  
в паяцах, шутах, скоморохах  
душа моя раньше жила.

Так ли уж совсем и никому?  
С истиной сходясь довольно близко,  
все-таки я веку своему  
нужен был, как уху – зубочистка.

Меня заводят, как наркотик,  
души моей слепые пятна:  
понятно мне, чего я против,  
за что я – полностью невнятно.

Подлинным по истине томлениям  
плотская питательна утеха,  
подлинно высоким размышлениям  
пьянство и обжорство – не помеха.

Приму любой полезный я совет  
и думать о житейской буду выгоде  
не раньше, чем во мне погаснет свет,  
душою выключаемый при выходе.

Пока прогресс везде ретиво  
меняет мир наш постепенно,  
подсыпь-ка чуть нам соли в пиво,  
чтоб заодно осела пена.

У пьяниц, бражников, кутил,  
в судьбе которых все размечено,  
благоприятствие светил  
всегда бывает обеспечено.

Хоть мыслить вовсе не горазд,  
ответил я на тьму вопросов,  
поскольку был энтузиаст  
и наблюдательный фаллософ.

Наше слово в пространстве не тает,  
а становится в нем чем угодно,  
ибо то, что бесплотно витает,  
в мире этом отнюдь не бесплодно.

Моей тюремной жизни окаянство  
нисколько не кляню я, видит Бог;  
я мучим был отнятием пространства,  
но времени лишить никто не мог.

Раздев любую обозримую  
проблему жизни догола,  
всегда найдешь непримиримую  
вражду овала и угла.

Я спать люблю: за тем пределом,  
где вне меня везде темно,  
душа, во сне сливаясь с телом,  
творит великое кино.

Поздним утром я вяло встаю,  
сразу лень изгоняю без жалости,  
но от этого так устаю,  
что ложусь, уступая усталости.

На тьму житейских упущений  
смотрю и думаю тайком,  
что я в одном из воплощений

был местечковым дураком.

С годами, что мне удивительно,  
душа наша к речи небрежной  
гораздо сильнее чувствительна,  
чем некогда в юности нежной.

По многим я хожу местам,  
таская дел житейских кладь,  
но я всегда случаясь там,  
где начинают наливать.

Позабыв о душевном копании,  
с нами каждый отменно здоров,  
потому что целебно в компании  
совдыхание винных паров.

Когда хожу гулять в реальность,  
где ветер, гам и моросит,  
вокруг меня моя ментальность  
никчемным рубищем висит.

Искусство жизни постигая,  
ему я отдал столько лет,  
что стала жизнь совсем другая,  
а сил учиться больше нет.

От музыки удачи и успеха  
в дальнейшем (через годы, а не дни)  
родится непредвидимое эхо,  
которым поверяются они.

Всегда напоминал мне циферблат,  
что слишком вызывающе и зря  
я так живу со временем не в лад:  
оно идет, а я лежу, куря.

Мы так во всех полемиках орем,  
как будто кипяток у нас во рту;  
настаивать чем тупо на своем,  
настаивать разумней на спирту.

Во мне смеркаться стал огонь;  
сорвав постылую узду,  
теперь я просто старый конь,  
пославший на хер борозду.

Сегодня ощутил я горемычно,  
как жутко изменяют нас года:

в себя уйдя и свет зажгя привычно,  
увидел, что попал я не туда.

Ловил я кайф, легко играя  
ту роль, какая выпадала,  
за что меня в воротах рая  
ждет рослый ангел-вышибала.

Мы скоро только дно бутылки  
сумеем страстно обнажать,  
и юные геронтофилки  
нас перестанут уважать.

Забавные мысли приходят в кровать  
с утра после грустного сна:  
что лучше до срока свечу задувать,  
чем видеть, как чахнет она.

Вновь душа среди белого дня  
заболит, и скажу я бутылке:  
эту душу сослали в меня,  
и страдает она в этой ссылке.

Зачем под сень могильных плит  
нести мне боль ушедших лет?  
Собрав мешок моих обид,  
в него я плюну им вослед.

Где скрыта душа, постигаешь невольно,  
а с возрастом только ясней,  
поскольку душа – это место, где больно  
от жизни и мыслей о ней.

Да, птицы, цветы, тишина  
и дивного запаха травы;  
но райская жизнь лишена  
земной незабвенной отравы.

Когда и где бы мы ни пили,  
тянусь я с тостом каждый раз,  
чтобы живыми нас любили,  
как на поминках любят нас.

## **Любви все возрасты покорны, ее порывы – рукотворны**

Мы всякой власти бесполезны  
и не сильны в карьерных трюках,

поскольку маршальские жезлы  
не в рюкзаках у нас, а в брюках.

Не раз и я, в объятьях дев  
легко входя во вдохновение,  
от наслажденья обалдев,  
остановить хотел мгновение.

А возгораясь по ошибке,  
я погасал быстрее спички:  
то были постные те рыбки,  
то слишком шустрые те птички.

Я никак не пойму, отчего  
так я к женщинам пагубно слаб;  
может быть, из ребра моего  
было сделано несколько баб?

Душа смиряет в теле смуты,  
бродя подобно пастуху,  
а в наши лучшие минуты  
душа находится в паху.

Мы когда крутили шуры-муры  
с девками такого же запала,  
в ужасе шарахались амуры,  
луки оставляя где попало.

Пока я сплю, не спит мой друг,  
уходит он к одной пастушке,  
чтоб навестить пастушкин луг,  
покуда спят ее подружки.

Всегда ланиты, перси и уста  
описывали страстные поэты,  
но столь же восхитительны места,  
которые доселе не воспеты.

Из наук, несомненно благих  
для юнцов и для старцев согбенных,  
безусловно полезней других  
география зон эrogenных.

Достану чистые трусы,  
надену свежую рубашку,  
приглажу щеточкой усы  
и навещу свою милашку.

Не зря люблю я дев беспечных,

их речь ясна и необманчива,  
ключи секретов их сердечных  
бренчат зазывно и заманчиво.

Погрызши в низких наслаждениях,  
их аналитик и рапсод,  
я достигал в моих падениях  
весьма заоблачных высот.

Вот идеал моей идиллии:  
вкусивши хмеля благодать  
и лежа возле нежной лилии,  
шмелей лениво обсуждать.

Возможно, я не прав в моем суждении,  
но истина мне вовсе не кумир:  
уверен я, что скрыта в наслаждении  
энергия, питающая мир.

Я женских слов люблю родник  
и женских мыслей хороводы,  
поскольку мы умны от книг,  
а бабы – прямо от природы.

Живя в огромном планетарии,  
где звезд роскошное вращение,  
бурчал я часто комментарии,  
что слишком ярко освещение.

Без вакханалий, безобразий  
и не в урон друзьям-товарищам  
мои цветы не сохли в вазе,  
а раздавались всем желающим.

Во мне избыток был огня,  
об этом знала вся округа,  
огонь мой даже без меня  
ходил по бабам в виде друга.

Всем дамам нужен макияж  
для торжества над мужиками:  
мужчина, впавший в охуяж,  
берется голыми руками.

Плывет когда любовное везение,  
то надо торопиться с наслаждением,  
чтоб совести угрюмой угрызение  
удачу не спугнуло пробуждением.

Душа моя безоблачно чиста,  
в любовные спеша капканы лезть,  
поскольку все на свете неспроста  
и случай – это свыше знак и весть.

Не знаю слаще я мороки  
среди морок житейских прочих,  
чем брать любовные уроки  
у дам, к учительству охочих.

Соблазнам не умея возражать,  
я все же твердой линии держусь:  
греха мне все равно не избежать,  
так я им заодно и наслажусь.

Свиваясь в будуарах и альковах  
в объятиях, по скорости военных,  
мы знали дам умелых и толковых,  
но мало было дам самозабвенных.

Являют умственную прыть  
пускай мужчины-балагуры,  
а бабе ум полезней скрыть —  
он отвлекает от фигуры.

Я близок был с одной вдовой,  
в любви достигшей совершенства,  
и будь супруг ее живой,  
он дал бы дуба от блаженства.

Даму обольстить немудрено,  
даме очень лестно обольщение,  
даму опьяняет, как вино,  
дамой этой наше восхищение.

Весна полна тоски томительной,  
по крови бродит дух лесной,  
и от любви неосмотрительной  
влетают ласточки весной.

У любви не бывает обмана,  
ибо искренна страсть, как дыхание,  
и божественно пламя романа,  
и угрюмо его затухание.

Хоть не был я возвышенной натурой,  
но духа своего не укрощал  
и девушек, ушибленных культурой,  
к живой и свежей жизни обращал.

Я не бежал от искушений  
в тоску сомнений идиотских,  
восторг духовных отношений  
ничуть не портит радость плотских.

Одна воздержанная дама  
весьма сухого поведения  
детей хотела так упрямо,  
что родила от сновидения.

Любой альков и будуар,  
имея тайны и секреты,  
приносит в наш репертуар  
иные па и пируэты.

Те дамы не просто сидят —  
умыты, завиты, наряжены, —  
а внутренним взором глядят  
в чужие замочные скважины.

Когда земля однажды треснула,  
сошлись в тот вечер Оля с Витей;  
бывает польза интересная  
от незначительных событий.

Бросает лампа нежный свет  
на женских блуз узор,  
и фантики чужих конфет  
ласкают чуткий взор.

Увидев девку, малой толики  
не ощущаю я стыда,  
что много прежде мысли — стоит ли?  
я твердо чувствую, что да.

Важна любовь, а так ли, сяк ли —  
хорош любой любовный танец;  
покуда силы не иссякли,  
я сам изрядный лесбиянец.

Целебен утешения бальзам:  
ловил себя на мысли я не раз,  
что женщины отказывают нам,  
жалея об отказе больше нас.

Сперва свирепое влечение  
пронзает все существование,  
потом приходит облегчение

и наступает остывание.

Время лижет наши раны  
и выносит вон за скобки  
и печальные романы,  
и случайные поебки.

Любил я сесть в чужие сани,  
когда гулякой был отпетым;  
они всегда следили сами,  
чтобы ямщик не знал об этом.

Легко мужчинами владея,  
их так умела привечать,  
что эллина от иудея  
не попевала отличать.

Хватает на бутыль и на еду,  
но нету на оплату нежных дам,  
и если я какую в долг найду,  
то честно с первой пенсии отдам.

Хвала и слава лилиям и розам,  
я век мой пережил под их наркозом.

К любви не надо торопиться,  
она сама придет к вам, детки,  
любовь нечаянна, как птица,  
на папу капнувшая с ветки.

Милый спать со мной не хочет,  
а в тетрадку ночь и день  
самодетельно строчит  
поебень и хуетень.

Весьма заботясь о контрасте  
и относясь к нему с почтением,  
перемежал я пламя страсти  
раздумьем, выпивкой и чтением.

Нет сомнения в пользе страданий:  
вихри мыслей и чувства накал,  
только я из любовных свиданий  
больше пользы всегда извлекал.

В тихой смиреннице каждой,  
в робкой застенчивой лапушке  
могут проснуться однажды  
блядские гены прабабушки.

И стареть не так обидно,  
вспомнянув исподтишка,  
как едала джем-повидло  
с хера милого дружка.

Бес любит юных дам подзуживать  
упасть во грех, и те во мраке  
вдруг начинают обнаруживать  
езде фаллические знаки.

Как виртуозны наши трюки  
на искре творческого дара,  
чтобы успешно скинуть брюки  
в чаду любовного угара!

Свой имею опыт я, но все же  
слушаю и речи знатоков:  
евнухи о бабах судят строже,  
тоньше и умнее мужиков.

Когда Господь, весы колебля,  
куда что класть негромко скажет,  
уверен я, что наша ебля  
на чашу праведности ляжет.

Не зря стоустая молва  
твердила мне, что секс – наркотик:  
болит у духа голова  
от непоседливости плоти.

С возрастом острее мужицкий глаз,  
жарче и сочнее души котлета,  
ибо ранней осенью у нас,  
как у всей природы – бабье лето.

Теперь и вспомним-то едва ли,  
как мы плясали те кадрили,  
когда подруги то стонали,  
то хриплым криком нас бодрили.

Ромашки, незабудки и гортензии  
различного строения и окраски  
усиливают с возрастом претензии  
на наши садоводческие ласки.

Врачует боль любой пропажи  
беспечной лени талисман,  
во мне рассеивал он даже

любви густеющий туман.

Лишь то, что отдашь,  
ты взамен и получишь,  
поэтому часто под вечер  
само ожидание женщины – лучше,  
чем то, что случится при встрече.

Это грешно звучит и печально,  
но решил я давно для себя:  
лучше трахнуть кого-то случайно,  
чем не мочь это делать, любя.

За повадку не сдаваться  
и держать лицо при этом  
дамы любят покрываться  
королем, а не валетом.

Всякой тайной мистики помимо,  
мистика есть явная и зримая:  
женщина, которая любима,  
выглядит стройней, чем нелюбимая.

Я красоту в житейской хляби  
ловлю глазами почитателя:  
беременность в хорошей бабе  
видна задолго до зачатия.

Белея лицом, как страница  
в надежде на краткую строчку,  
повсюду гуляет девица,  
готовясь на мать-одиночку.

Я так зубрил познания азы,  
что мог бы по стезе ума пойти,  
но зовы гормональной железы,  
спасибо, совлекли меня с пути.

А жалко, что незыблема граница,  
положенная силам и годам,  
я б мог еще помочь осуществиться  
мечте довольно многих юных дам.

Мы судим о деве снаружи —  
по стану, лицу и сноровке,  
но в самой из них неуклюжей  
не дремлет капкан мужеловки.

Да, в небесах заключается брак,

там есть у многих таинственный враг.

Бог чувствует, наверно, боль и грусть,  
когда мы в суете настолько тонем,  
что женщину ласкаем наизусть,  
о чем-то размышляя постороннем.

Предчувствуя любовную удачу,  
я вновь былую пылкость источаю,  
но так ее теперь умело прячу,  
что сам уже почти не замечаю.

Весь век земного соучастия  
мы учим азбуку блудливости —  
от молодого любострастия  
до стариковской похотливости.

Все беды у меня лишь оттого,  
что встретить пофартило и любить  
мне женщин из гарема моего,  
который у меня был должен быть.

Подавленных желаний тонкий след  
рубцуются, но тлеет под золой,  
и женщина грустит на склоне лет  
о глупой непреклонности былой.

Мне кажется, бывшие потаскушки,  
знававшие катанье на гнедых,  
в года, когда они уже старушки, —  
с надменностью глядят на молодых.

Творца, живущего вдали,  
хотел бы я предупредить:  
мы столько дам недоебли,  
что смерти стоит погодить.

Я в разных почвах семя сеял:  
духовной, плотской, днем и ночью,  
но, став по старости рассеян,  
я начал часто путать почву.

Я прежний сохранил в себе задор,  
хотя уже в нем нет былого смысла,  
поэтому я с некоторых пор  
подмигиваю девкам бескорыстно.

В любых спектаклях есть замена,  
суфлеры, легкость обсуждения;

постель – единственная сцена,  
где нет к актеру снисхождения.

С годами стали круче лестницы  
и резко слепнет женский глаз:  
когда-то зоркие прелестницы  
теперь в упор не видят нас.

Любовь как ни гони и ни трави,  
в ней Божьему порядку соответствие,  
мы сами ведь – не больше, чем любви  
побочное случайное последствие.

А бывает, что в сумрак осенний  
в тучах луч означает хрупкий,  
и живительный ветер весенний  
задувает в сердца и под юбки.

Кто недавно из листьев капустных,  
тем любовь – это игры на воле,  
а для взрослых, от возраста грустных,  
их любовь неотрывна от боли.

А наша близость – только роздых  
на расходящихся путях,  
и будет завтра голый воздух  
в пустых сомкнувшихся горстях.

Что к живописи слеп, а к музыке я глух —  
уже невосполнимая утрата,  
зато я знаю несколько старух  
с отменными фигурами когда-то.

Логической мысли забавная нить  
столетия вьется повсюду:  
поскольку мужчина не может родить,  
то женщина моет посуду.

Зря вы мнетесь, девушки,  
грех меня беречь,  
есть еще у дедушки  
чем кого развлечь.

Зря жены квохчут оголтело,  
что мы у девок спим в истоме,  
у нас блаженствует лишь тело,  
а разум – думает о доме.

Отменной верности супруг,

усердный брачных уз невольник  
такой семейный чертит круг,  
что бабе снится треугольник.

В людской кипящей тесноте  
не страшен путь земной,  
весьма рискуют только те,  
кто плохо спит с женой.

Ты жуткий зануда, дружок,  
но я на тебя не в обиде,  
кушая тайком пирожок,  
какого ты сроду не видел.

Внутри семейного узла  
в период ссор и междометий  
всегда легко найти козла,  
который в этой паре третий.

У всех текли трагедии и драмы,  
а после оставалась тишина,  
морщины на лице, на сердце шрамы  
и памятьливо-тихая жена.

Настолько в детях мало толка,  
что я, признаться, даже рад,  
что больше копий не нащелкал  
мой множительный аппарат.

Куда ни дернешься – повсюду,  
в туман забот погружена,  
лаская взорами посуду,  
вокруг тебя сидит жена.

Бес или Бог такой мастак,  
что по причуде высшей воли  
людей привязывает так,  
что разойтись нельзя без боли?

Глаз людской куда ни глянет,  
сохнут бабы от тоски,  
что любовь мужская вянет  
и теряет лепестки.

За все наши мужицкие злодейства  
я женщине воздвиг бы монумент,  
мужчина – только вывеска семейства,  
а женщина – и балки, и цемент.

В доме, где любовь уже утратили,  
чешется у женщины рука:  
выгнать мужика к ебене матери —  
жаль оставить дом без мужика.

Послушно соглашаюсь я с женой,  
хотя я совершенно не уверен,  
что конь, пускай изрядно пожилой,  
уже обязан тихим быть, как мерин.

Когда у нас рассудок, дух и честь  
находятся в согласии и мире,  
еще у двоеженца радость есть  
от мысли, что не три и не четыре.

Я с гордостью думал в ночной тишине,  
как верность мы свято храним,  
как долго и стойко я предан жене  
и дивным подружкам двоим.

Да, я бывал и груб, и зол,  
однако помяну,  
что я за целый век извел  
всего одну жену.

Любви таинственный процесс  
в любых столетиях не гас,  
как не погаснет он и без  
ушедших нас.

Подругам ежегодно в день кончины  
моя во снах являться будет тень,  
и думать будут юные мужчины  
о смутности их женщин в этот день.

## **Слишком я люблю друзей моих, чтобы слишком часто видеть их**

Умея от века себя отключить,  
на мир я спокойно гляжу,  
и могут меня только те огорчить,  
кого за своих я держу.

Течет беспечно, как вода  
среди полей и косогоров,  
живительная ерунда  
вечерних наших разговоров.

Чтоб жить отменно, так немного,  
по сути, нужно мне, что я  
прошу простейшего у Бога:  
чтоб не менялась жизнь моя.

Курили, пили и молчали,  
чуть усмехались;  
но затихали все печали  
и выдыхались.

Бог шел путем простых решений,  
и, как мы что ни назови,  
все виды наших отношений —  
лишь разновидности любви.

Тяжки для живого организма  
трели жизнерадостного свиста,  
нету лучшей школы пессимизма,  
чем подолгу видеть оптимиста.

Если нечто врут мои друзья,  
трудно утерпеть, но я молчу;  
хочется быть честным, но нельзя  
делать только то, что я хочу.

Не могут ничем насладиться вполне  
и маются с юмором люди,  
и видят ночами все время во сне  
они горбуна на верблюде.

Мы одиноки, как собаки,  
но нас уже ничем не купишь,  
а бравши силой, понял всякий,  
что только хер зазря затупишь.

По собственному вкусу я сужу,  
чего от собеседника нам нужно,  
и вздор напропалую горожу  
охотнее, чем умствую натужно.

Нам свойственна колючая опаска  
слюнявых сантиментов и похвал,  
но слышится нечаянная ласка —  
и скашивает душу наповал.

Ты в азарте бесподобен  
ярой одурью своей,  
так мой пес весной способен

пылко трахать кобелей.

У нас легко светлеют лица,  
когда возможность нам дана  
досадой с другом поделиться,  
с души содрав лоскут гавна.

Люблю шутов за их потешность,  
и чем дурнее, тем верней  
они смягчают безутешность  
от жизни клоунской моей.

Я вижу объяснение простое  
того, что ты настолько лучезарен:  
тебя, наверно, мать рожала стоя,  
и был немного пол тобой ударен.

Хоть я свои недуги не лечу,  
однако, зная многих докторов,  
я изредка к приятелю-врачу  
хожу, когда бедняга нездоров.

То истомясь печалью личной,  
то от погибели в вершке  
весь век по жизни горемычной  
мечусь, как мышь в ночном горшке.

Стал тесен этот утлый водоем,  
езде резвятся стаи лягушат,  
и даже в одиночестве моем  
какие-то знакомые кишат.

У тех, кто в усердии рьяном  
по жизни летит оголтело,  
душа порастает бурьяном  
гораздо скорее, чем тело.

Я курю возле рюмки моей,  
а по миру сочится с экранов  
соловьиное пение змей  
и тигриные рыки баранов.

Мой восторг от жизни обоснован,  
Бог весьма украсил жизнь мою:  
я, по счастью, так необразован,  
что все время что-то узнаю.

Давно живу как рак-отшельник  
и в том не вижу упущения,

душе стал тягостен ошейник  
пустопорожного общения.

Когда среди людей мне одиноко,  
я думаю, уставясь в пустоту:  
а видит ли всевидящее око  
бессилие свое и слепоту?

Быстрее мне согнуться и пропасть,  
чем воспалят мой дух никчемный  
наживы пламенная страсть  
и накопленья зуд экземный.

В эпоху той поры волшебной,  
когда дышал еще легко,  
для всех в моей груди душевной  
имелось птичье молоко.

Сбыл гостя. Жизнь опять моя.  
Слегка душа очнулась в теле.  
Но чувство странное, что я —  
башмак, который не надели.

Поскольку я большой философ,  
то жизнь открыла мне сама,  
что глупость – самый лучший способ  
употребления ума.

Когда мне тускло, скучно, душно  
и жизнь истерлась, как пословица,  
к себе гостей зову радушно,  
и много хуже мне становится.

На нас во всей своей весомости  
ползет, неся опустошения,  
болезнь душевной насекомости  
и насекомого кишения.

Верю людям, забыв и не думая,  
что жестоко похмелье наивности,  
что себя в это время угрюмое  
я люблю без обычной взаимности.

Время облегчает бытие,  
дух у нас устроен эластично:  
чувство одиночества мое  
сделалось безоблачно привычно.

Поневоле сочится слеза

на согретую за ночь кровать:  
только-только закроешь глаза,  
как уже их пора открывать.

С утра неуютно живется сове,  
прохожие злят и проезжие,  
а затхлость такая в ее голове,  
что мысли ужасно несвежие.

Когда бы рано я вставал,  
душа не ныла бы, как рана,  
что много больше успевал  
бы сделать я, вставая рано.

С утра суется в мысли дребедень  
о жизни, озаренной невезением,  
с утра мы друг на друга – я и день —  
взираем со взаимным омерзением.

И снова утро. Злой и заспанный,  
я кофе нехотя лакаю,  
заботы взваливаю за спину  
и жить покорно привыкаю.

За все на свете я в ответе,  
и гордо флаг по ветру реет,  
удача мне все время светит,  
и только жалко, что не греет.

Несчастливым не был я нисколько,  
легко сказать могу теперь уж я,  
что если я страдал, то только  
от оптимизма и безденежья.

Мы радуемся или стонем  
и тем судьбу отчасти правим:  
смеясь, мы прошлое хороним,  
а плача – будущее травим.

Гудит стиральная машина,  
на полках книги в тон обоям,  
у телевизора – мужчина,  
мечтавший в детстве стать ковбоем.

На убогом и ветхом диванчике  
я валяюсь, бездумен и тих,  
в голове у меня одуванчики,  
но эпоха не дует на них.

Никем нигде не состою,  
не числюсь и не посещаю,  
друзей напитками пою,  
подруг – собою угощаю.

Я часто спорю, ярый нрав  
и вздорность не тая,  
и часто в споре я не прав,  
а чаще – прав не я.

Поскольку я жил не эпически  
и брюки недаром носил,  
всегда не хватало хронически  
мне времени, денег и сил.

Себя от себя я усердно лечу,  
живя не спеша и достойно,  
я бегаю медленно, тихо кричу  
и гневаюсь очень спокойно.

Поскольку я себя естественно  
везде веду, то я в награду  
и получаю соответственно  
по носу, черепу и заду.

Мы так от жизни в темноте  
лучились искрами затей,  
что на свету черны, как те,  
кто пережил своих детей.

Я не пьянею от удачи,  
поскольку знаю наперед,  
как быстро все пойдет иначе  
и сложится наоборот.

На любопытство духа гончего —  
о личной жизни или мнении —  
я отвечаю так уклончиво,  
что сам сижу в недоумении.

Мне наружный мир не интересен,  
сузилась души моей округа,  
этот мир субботен и воскресен,  
мы совсем чужие друг для друга.

Свои серебряные латы  
ношу я только оттого,  
что лень поставить мне заплаты  
на дыры платья моего.

Чтобы вынести личность мою,  
нужно больше, чем просто терпение,  
ибо я даже в хоре пою  
исключительно личное пение.

Мне кажется сегодня, что едва ли  
в одних только успехах наша сила:  
откуда бы меня ни изгоняли —  
всегда мне это пользу приносило.

На долгом вкладе, как поганки,  
растут финансы дни и ночи;  
и я растил бы деньги в банке,  
но есть и пить охота очень.

Плодясь обильней, чем трава,  
кругом шумит разноголосица,  
а для души нужны слова,  
которые не произносятся.

Всегда при получении письма  
кидаю на конверт короткий взор  
я с чувством, будто новая тесьма  
войдет сейчас в судьбы моей узор.

Я в этой жизни часто ждал —  
удачи, помощи, свидания;  
души таинственный кристалл  
темнеет в нас от ожидания.

Какое-то шершаво-беспокойное  
сегодня состояние весь день:  
не то я сделал что-то недостойное,  
не то легла из будущего тень.

Врут обо мне в порыве злобы,  
что все со смехом гнусно хаю,  
а я, бля, трагик чистой пробы,  
я плачу, бля, и воздыхаю.

Не в том беда, что одинок,  
а в ощущеньях убедительных,  
что одинок ты — как челнок  
между фрегатов победительных.

У круглого с пор давних сироты —  
я этого никак не ожидал —  
являются в характере черты,

которые в отце он осуждал.

Настолько не знает предела  
любовь наша к нам дорогим,  
что в зеркале вялое тело  
мы видим литым и тугим.

Живя не грустя и не ноя  
и радость и горечь цена,  
порой наступал на гавно я,  
но чаще – оно на меня.

Застолья благочинны и богаты  
в домах, где мы чужие, но желанны,  
мужчины безупречны и рогаты,  
а женщины рогаты и жеманны.

Напрасно я нырнул под одеяло,  
где выключил и зрение, и слух,  
во сне меня камнями побивала  
толпа из целомудренных старух.

Во все, что высоко и далеко,  
мы тянемся внести свой личный шум;  
порочить и пророчить так легко,  
что это соблазняет слабый ум.

Порой издашь дурацкий зык,  
когда устал или задерган,  
и вырвать хочется язык,  
но жаль непарный этот орган.

Я был тогда застенчив. И не злей,  
а яростней. И сам собой лучился.  
И жаль, что избегал учителей,  
сегодня я у них бы поучился.

Когда сижу я, кончик ручки  
слегка грызя, душой в нирване,  
то я не в творческой отключке,  
а в склеротическом тумане.

У многих авторов с тех пор,  
как возраст им понурил нос,  
при сочинительстве – запор,  
а с мемуарами – понос.

Верчусь я не ради забавы,  
я тепло тупое стремление

с сияющей лысины славы  
постричь волоски на кормление.

Чтоб описать свой возраст ранний,  
все факты ловятся в чернилах,  
и сладок сок воспоминаний,  
когда удачно сочинил их.

Не зря мы, друг, о славе грезили,  
нам не простят в родном краю,  
что влили мы в поток поэзии  
свою упругую струю.

Ничуть не влияет моя голова  
на ход сочинительства смутный,  
но вдруг я на ветер кидаю слова,  
а он в это время попутный.

Когда насильно свой прибор  
терзает творческая личность,  
то струны с некоторых пор  
утрачивают эластичность.

Творя чего-нибудь певучее,  
внутри я мысли излагаю,  
но смыслом ради благозвучия  
весьма легко пренебрегаю.

Сижу и сочиняю мемуары,  
сколь дивно протекала жизнь моя...  
Как сердце пережило те кошмары,  
которые выдумываю я?

Я боюсь в человеках напевности,  
под которую ищут взаимности,  
обнажая свои задушевные  
и укромности личной интимности.

Когда с тобой беседует дурак,  
то кажется, что день уже потух,  
и свистнул на горе вареный рак,  
и в жопу клюнул жареный петух.

Он не таит ни от кого  
своей открытости излишек,  
но в откровенности его  
есть легкий запах от подмышек.

Не лез я с моськами в разбор,

молчал в ответ на выпад резкий,  
чем сухо клал на них прибор,  
не столь увесистый, как веский.

Его похвал я не хочу,  
напрасно так он озабочен;  
меня похлопать по плечу  
бедняге прыгать надо очень.

На вид неловкий и унылый,  
по жизни юрок ты, как мышь;  
тебя послал я в жопу, милый, —  
ты не оттуда ли звонишь?

Вампир не ленится скитаться,  
чтобы, прильнув незримой пастью,  
чужой энергией питаться,  
чужими мыслями и страстью.

Такой терзал беднягу страх  
забытым быть молвой и сплетней,  
что на любых похоронах  
он был покойника заметней.

Хвалишься ты зря, что оставался  
честным, неподкупным и в опале:  
многие, кто впрямь не продавался, —  
это те, кого не покупали.

Он искренно про совесть и про честь  
не знает ничего: его душонка,  
поскольку хоть какая-то, но есть —  
не больше, чем мошонка у мышонка.

Покуда крепок мой табак  
и выпивка крепка,  
мне то смешон мой бедный враг,  
то жалко дурака.

Нет беды, что юные проделки  
выглядят нахально или вздорно;  
радуюсь, когда барашек мелкий  
портит воздух шумно и задорно.

Он как ни утверждай со вдохновением,  
что суть его – трагический герой,  
но быть нельзя никак печальным гением,  
описывая духа геморрой.

У нас готово для продажи  
все, что угодно населению,  
а если вдуматься, то даже  
и жар сердечный, к сожалению.

Все вечера жужжу, как муха,  
в себе гордыню укрощая:  
творю материю из духа,  
стишки в монеты превращая.

Да, друзья-художники, вы правы,  
что несправедлив жестокий срок,  
ибо на лучах посмертной славы  
хочется при жизни спечь пирог.

Наш ум устроен целесообразно,  
ему идут на пользу и поломки:  
свихнуться можно так своеобразно,  
что гением тебя сочтут потомки.

Пишу печальные стишки  
про то, как больно наблюдать  
непроходимость той кишки,  
откуда каплет благодать.

В мире есть повсюду много студий,  
там надменно бедствуют художники;  
будь они хоть чуть иные люди,  
были бы портные и сапожники.

К чужому соку творческих томлений  
питаю переимчивую страсть,  
я даже у грядущих поколений  
смогу, возможно, что-нибудь украсть.

Жить суетно обидно мне вдвойне,  
уже мне ясно видно дно колодца,  
однако же с собой наедине  
совсем нам посидеть не удастся.

В горячем споре равно жалко  
и дурака, и мудреца,  
поскольку истина, как палка, —  
всегда имеет два конца.

Нет, как я буду умирать,  
гадать я не возьмусь;  
я обожаю засыпать —  
но зная, что проснусь.

Я не считал, играя фартом,  
ни что почем, ни что престижно,  
и жил с достаточным азартом,  
чтоб умереть скоропостижно.

Нисколько в этой жизни я не мучим  
желанием исследовать поближе,  
которое гавно теплей и круче,  
которое – прозрачнее и жиже.

Покорно жвачку будней я жевал,  
ходил и в мудрецах, и в обормотах,  
но время я упрямо проживал,  
не сбрасывая газ на поворотах.

Забавно желтеть, увядая,  
смотря без обиды пустой  
на то, как трава молодая  
смеется над палой листвой.

Надеюсь, без единого проклятия,  
а если повезет, и без мучений  
я с жизнью разомкну мои объятия  
для новых, Бог поможет, приключений.

## **В нас очень остро чувство долга, мы просто чувствуем недолго**

Как это странно и нелепо:  
упруги дни, отменны ночи,  
но неотвязно и свирепо  
меня все время смута точит.

По счету света и тепла,  
по мере, как судьба согнула,  
жизнь у кого-то протекла,  
а у другого – прошмыгнула.

Мне дух мечтательности нежной  
уже докучен и не нужен,  
я столько завтракал с надеждой,  
что грустен был бы с ней же ужин.

Меня слегка тревожит отрешенность  
моя от повседневности кипящей;  
не то это фортуны завершенность,

не то испуг от жизни настоящей.

Смотрю я горестно и пристально  
на свой сужающийся круг:  
осилив бури, в тихой пристани  
мы к жизни вкус теряем вдруг.

Мы зря в былом опору ищем  
для новых светлых побуждений,  
уже там только пепелище  
тогдашних наших заблуждений.

Все растяпы, кулемы, разини —  
лучше нас разбираются в истине:  
в их дырявой житейской корзине  
спит густой аромат бескорыстия.

По сути, наши боли и невзгоды,  
события, восторги и вожди —  
такие же явления природы,  
как засухи, рассветы и дожди.

Унять людскую боль и горе  
не раньше сможет человек,  
чем разделить сумеет море  
на воды впавших в море рек.

Разносит по планете смех и плач  
невидимый злодей и утешитель —  
бес хаоса, случайностей, удач,  
порядка и системы сокрушитель.

Душе уютны, как пальто,  
иллюзии и сантименты,  
однако жизнь – совсем не то,  
что думают о ней студенты.

Я боюсь, что жизнь на небе нелегка,  
ибо с неба мы заметны в серой мгле,  
и краснеют на закате облака  
от увиденного ими на земле.

Бродяги, странники, скитальцы,  
попав из холода в уют,  
сначала робко греют пальцы,  
а после к бабе пристают.

Всегда приятно думать о былом,  
со временем оно переменилось,

оно уже согрето тем теплом,  
которое в душе тогда клубилось.

Даря комфорт, цивилизация  
нас умирят, растлевая:  
уже мне страшно оказаться  
где хаос, риск и смерть живая.

Природа окутана вязью густой  
дыхания нашей гордыни,  
и даже на небе то серп золотой,  
то вялая корка от дыни.

Хмурым лицом навевается скука,  
склонная воздух тоской отравлять,  
жизнь и без этого горькая штука,  
глупо угрюмством ее опошлять.

Наш разум налегке и на скаку  
вторгается в округу тайных сфер,  
поскольку ненадолго дураку  
стеклянный хер.

Однажды человека приведет  
растущее техническое знание  
к тому, что абсолютный идиот  
сумеет повлиять на мироздание.

Когда от взрыва покачнется  
Земля, струясь огнем и газом,  
к нам на мгновение вернется  
надежда робкая на разум.

Душа человеку двойная дана —  
из двух половинок, верней, —  
и если беспечно хохочет одна,  
то плачет вторая над ней.

Истину ищу сегодня реже я,  
ибо, сопричастные к наживе,  
всюду ходят сочные и свежие  
истины, мне начисто чужие.

Кто потемки моей темноты  
осветить согласится научно?  
Почему от чужой правоты  
на душе огорчительно скучно?

К себе желая ближе присмотреться,

курю и тихо думаю во тьме  
про мысли, исходившие от сердца  
и насмерть замерзавшие в уме.

Да, Господь, лежит на мне вина:  
глух я и не внемлю зову долга,  
ибо сокрушители гавна  
тоже плохо пахнут очень долго.

Мерзавцу я желаю, чтобы он  
в награду за подлянку и коварство  
однажды заработал миллион  
и весь его потратил на лекарство.

На даже близком расстоянии  
не видно щели узкой пропасти,  
и лишь душой мы в состоянии  
ум отличить от хитрожопости.

Увы, при царственной фигуре  
(и дивно морда хороша)  
плюгавость может быть в натуре  
и косоглазой быть душа.

Я встречал на житейском пути  
ухитрившихся в общем строю  
мимо собственной жизни пройти  
и ее не признать за свою.

Есть люди речи благородной  
и строгих нравственных позиций,  
но запах тухлости природной  
над ними веет и струится.

Наш Бог, Создатель, Господин,  
хотя и всеблагой,  
для слабых духом Он один,  
а для других – другой.

Весьма влияет благотворно  
и создает в душе уют  
наш мир, где так везде проворно  
воруют, лгут и предают.

Покрытость лаками и глянцем  
и запах кремов дорогих  
заметно свойственной поганцам,  
чем людям, терпящим от них.

Внезапной страсти убоясь,  
предвидя тяготы и сложности,  
мы льем разумных мыслей грязь  
на блеск пугающей возможности.

Поскольку нету худа без добра,  
утешить мы всегда себя умеем,  
что если не имеем ни хера,  
то право на сочувствие имеем.

Впитал я с детства все банальности,  
но в жизни я не делал подлости  
не от зачуханной моральности,  
а по вульгарной личной гордости.

Никак я не миную имя Бога,  
любую замечая чрезвычайность;  
случайностей со мной так было много,  
что это исключает их случайность.

Преданный разгулу и азарту,  
я от мутной скуки не умру,  
в молодости плоть метала карту,  
ныне шулер-дух вошел в игру.

Где сегодня было пусто  
на полях моих житейских,  
завтра выросла капуста  
из билетов казначейских.

В унынии, печали и тоске  
есть пошлость с элементами безумства,  
и так ведь жизнь висит на волоске,  
а волос очень сохнет от угрюмства.

По-прежнему людей не избегая,  
я слушаю их горькие рыдания,  
но слышу их теперь, изнемогая  
от жалости, лишенной сострадания.

Я спорю искренно и честно,  
я чистой истины посредник,  
и мне совсем не интересно,  
что говорит мой собеседник.

Всюду в жизни то смерчи, то тучи,  
бродит гибель и небо в огне;  
чем серьезней опасность и круче,  
тем она безразличнее мне.

В душе у нас – диковинное эхо:  
оно способно, звук переинача,  
рыданием ответить вместо смеха  
и смехом отозваться вместо плача.

Бегу, куда азарт посвищет,  
тайком от совести моей,  
поскольку совесть много чище,  
если не пользоваться ей.

За радости азартных приключений  
однажды острой болью заплатив,  
мы так боимся новых увлечений,  
что носим на душе презерватив.

Когда в нас к этой жизни зыбкой —  
нет ни любви, ни интереса,  
то освещается улыбкой  
лицо недремлющего беса.

Творец обычно думает заранее,  
размешивая разум, соль и дерзость,  
и многим не хватает дарования,  
чтоб делать выдающуюся мерзость.

Есть две разновидности теста,  
из коего дух наш содеян,  
и люди открытого текста  
проигрывают лицедеям.

Я б устроил в окрестностях местных,  
если б силами ведал природными,  
чтобы несколько тварей известных  
были тварями, только подводными.

Я с почтеньем думаю о том,  
как неколебимо все, что есть,  
ибо даже в веке золотом  
ржавчина железо будет есть.

По сути, знали мы заранее,  
куда наука воз везла,  
поскольку дерево познания  
всегда поили соки зла.

Наука зря в себе уверена,  
ведь как науку ни верти,  
а у коня есть путь до мерина,

но нет обратного пути.

Весь день сегодня ради прессы  
пустив на чтение запойное,  
вдруг ощутил я с интересом,  
что проглотил ведро помойное.

Но пакости на свете нет сугубей,  
чем тихое культурное собрание,  
где змеи ущемленных самолюбий  
витают и кишат уже заранее.

Как, Боже, мы похожи на блядей  
желанием, вертясь то здесь, то там,  
погладить выдающихся людей  
по разным выдающимся местам.

До славы и сопутствующих денег,  
по лестнице взбираясь, как медведь,  
художник только нескольких ступенек  
за жизнь не успевает одолеть.

Искусство, отдаваясь на прочтение,  
распахнуто суждению превратному:  
питаю к непонятному почтение,  
мы хамски снисходительны к понятному.

Удавшиеся строчки  
летают, словно мухи,  
насиживая точки  
на разуме и духе.

Есть люди – выдан им билет  
на творческое воплощение,  
их души явно теплят свет,  
но тускло это освещение.

Ценю читательские чувства я,  
себя всего им подчиняю:  
где мысли собственные – грустные,  
там я чужие сочиняю.

Во мне душа однажды дрогнет,  
ум затуманится слегка,  
и звук возвышенный исторгнет  
из лиры слабая рука.

В этой жизни я сделал немного  
от беспечности и небрежения,

мне была интересна дорога,  
а не узкий тупик достижения.

Глубокие мы струны зря тревожим,  
темно устройство нашего нутра,  
и мы предугадать никак не можем,  
как может обернуться их игра.

Иллюзий и галлюцинаций,  
туманных помыслов лихих —  
затем не следует бояться,  
что мы б не выжили без них.

Слова про слитность душ – лишь удовольствие,  
пустая утешительная ложь;  
по хуже одиночества – спокойствие,  
с которым ты его осознаешь.

Не в муках некой мысли неотложной  
он вял и еле двигает руками —  
скорее, в голове его несложной  
воюют тараканы с пауками.

Вертись в рабочей мясорубке,  
мужчины ей же и хранимы,  
поскольку мнительны и хрупки,  
пугливы, слабы и ранимы.

А кто орлом себя считает,  
презревши мышью суету,  
он так заоблачно летает,  
что даже гадит на лету.

Покров румян, манер и лаков  
теперь меня смущает реже,  
наш мир повсюду одинаков,  
а мы везде одни и те же.

Быть незаметнее и тише —  
важнее прочего всего:  
чем человек крупней и выше,  
тем изощренней бес его.

Глупое по сути это дело —  
двигаться, свою таская тень;  
даже у себя мне надоело  
быть на побегушках целый день.

За то, что дарятся приятности

то плотью нам, то духом тощим,  
содержим тело мы в опрятности,  
а душу музыкой полощем.

Я не уверен в Божьем чуде  
и вижу внуков без прикрас,  
поскольку будущие люди  
произойдут, увы, от нас.

С народной мудростью в ладу  
и мой уверен грустный разум,  
что как ни мой дыру в заду,  
она никак не станет глазом.

Зря не печалься, старина,  
печаль сама в тебе растает,  
придут иные времена,  
и все гораздо хуже станет.

## **Чем я грустней и чем старей, тем и видней, что я еврей**

Евреи зря ругают Бога  
за тьму житейских злополучий:  
Творец нам дал настолько много,  
что с нас и спрашивает круче.

Всегда с евреем очень сложно,  
поскольку очень очевидно,  
что полюбить нас – невозможно,  
а уважать – весьма обидно.

Я б так и жил, совьсясь в клубок,  
узлы не в силах распустить,  
спасибо всем, кто мне помог  
себя евреем ощутить.

Нельзя в еврея – превратиться,  
на то есть только Божья власть,  
евреем надобно родиться  
и трижды жребий свой проклясть.

Люблю я племя одержимое,  
чей дух бессильно торжествует,  
стремясь постичь непостижимое,  
которого не существует.

Стараюсь евреем себя я вести

на самом высоком пределе:  
святое безделье субботы блюсти  
стремлюсь я все дни на неделе.

Не позволяй себе забыть,  
что ты с людьми природой связан;  
евреем можешь ты не быть,  
но человеком быть обязан.

Наш ум погружен в темь и смуту  
и всуе мысли не рождает;  
еврей умнеет в ту минуту,  
когда кому-то возражает.

Не надо мне искать  
ни в сагах, ни в былинах  
истоки и следы моих корней:  
мой предок был еврей  
и в Риме, и в Афинах,  
и был бы даже в Токио еврей.

Та прозорливой мысли дальность,  
что скрыта в нашем обрезании,  
есть объективная реальность,  
даруемая в осязании.

Еще ни один полководец  
не мог даже вскользь прихвастнуть,  
что смял до конца мой народец,  
податливый силе, как ртуть.

В основе всей сегодняшней морали —  
древнейшие расхожие идеи;  
когда за них распятием карали,  
то их держались только иудеи.

Все зыбко в умах колыхалось  
повсюду, где жил мой народ;  
евреи придумали хаос,  
анархию, спор и разброд.

Когда бы мой еврейский Бог  
был чуть ко мне добрей,  
Он так легко устроить мог,  
чтоб не был я еврей!

Тем и славен у прочих народов,  
что от ветхой избы до дворца  
при расчете затрат и доходов

у еврея два разных лица.

Еврея Бог лепил из той же глины,  
что ангелы для прочих нанесли,  
и многие гонители свинины  
поэтому так салом заросли.

Совсем не к лицу мне корона,  
Бог царского нрава не дал,  
и зад не годится для трона,  
но мантию я бы продал.

Умения жить излагал нам науку  
знакомый настырный еврей,  
и я благодарно пожал ему руку  
дверями квартиры своей.

Чтоб речь родную не забыть,  
на ней почти не говоря,  
интересуюсь я купить  
себе большого словаря.

С неуклонностью сея сквозь время  
смуту душ и умов окаянство,  
наше темное древнее семя  
прорастает в тугое пространство.

Основано еврейское величие  
на том, что в незапамятные дни  
мы зло с добром настолько разграничили,  
что больше не смешаются они.

Всегда в еврее есть опасность,  
поскольку властно правит им  
неодолимая причастность  
к корням невидимым своим.

По всей глубинной сути я еврей,  
и кровь моя судьбу творит сама,  
я даже темной глупости моей  
могу придать подобие ума.

Высветив немислимые дали  
(кажется, хватили даже лишку),  
две великих книги мы создали:  
Библию и чековую книжку.

Мы живем на белом свете  
вроде табора цыганского,

и растут по всей планете  
брызги нашего шампанского.

С еврейским тайным умыслом слияние  
заметно в каждом факте и событии,  
и слабое еврейское влияние  
пока только на Марсе и Юпитере.

Полемики, дискуссии, дебаты —  
кончаются, dospорившись до хрипа,  
согласием, что снова виноваты  
евреи неопознанного типа.

Умения крутиться виртуозы  
и жить, а не гадать, вращая блюдце, —  
евреи, проливающие слезы,  
обычно одновременно смеются.

Среди болотных пузырей,  
надутых газами гниения,  
всегда находится еврей —  
венец болотного творения.

Весьма проста в душе моей  
добра и зла картина:  
ты даже дважды будь еврей,  
но важно, что скотина.

Мы удивительный народ  
в толпе людской реки,  
и пишем мы наоборот,  
и живы вопреки.

Еврея тянет выше, выше,  
и кто не полный идиот,  
но из него портной не вышел,  
то он в ученые идет.

Надеждой душу часто грея,  
стремлюсь я форму ей найти;  
когда нет денег у еврея,  
то греет мысль: они в пути.

Евреи ходят в синагогу,  
чтобы Творец туда глядел  
и чтоб не видно было Богу  
всех остальных еврейских дел.

Еврей, зажгя субботнюю свечу,

в мечтательную клонится дремоту,  
и все еврею в мире по плечу,  
поскольку ничего нельзя в субботу.

Когда еврей наживой дорожит  
в убогом вожделении упрямом,  
то Бога я молю, чтоб Вечный Жид  
не стал в конце концов Грядущим Хамом.

Хотя весьма суха энциклопедия,  
театра легкий свет лучится в фактах,  
еврейская история – трагедия,  
но фарс и водевиль идут в антрактах.

Между скальных, но обломков,  
между крупных, но объедков —  
я живу в стране потомков,  
облученных духом предков.

Сойдись из очень разных дальностей  
в ничью пустынную страну,  
евреи всех национальностей  
слепить пытаются одну.

Напрасно осуждается жестокий  
финансовый еврейский хваткий норв:  
евреи друг из друга давят соки  
похлеще, чем из прочих помидоров.

Все мне по душе – тепло и свет,  
радости свободы, шум и споры;  
здесь я жить хотел бы столько лет,  
сколько там сулили прокуроры.

Страну мою на карте обнаружив,  
на внешние размеры не смотри:  
по площади ничтожная снаружи,  
она зато огромна изнутри.

Я здесь уже когда-то умирал  
и помню, как я с близкими прощался,  
сюда я много раз, как бумеранг,  
из разных прошлых жизней возвращался.

Среди трущоб и пустырей,  
между развалин и руин  
возводит лавочку еврей,  
и в этом храме он раввин.

Мне люди здесь понятны и близки,  
а жизни, проживаемые нами,  
полны тугого смысла – и тоски,  
когда его теряешь временами.

В соплеменной тесноте  
все суются в суету,  
чтобы всунуть в суете  
всяческую хуету.

Наш век был изрядно трагический,  
но может еврей им гордиться,  
отныне наш долг исторический —  
как можно обильней плодиться.

Смотрю на волны эмиграции  
я озадаченно слегка:  
сальери к нам сюда стремятся  
активней моцартов пока.

Меняются наши натуры  
под этой земли кипарисами,  
мышата из храма культуры  
ведут себя зрелыми крысами.

Из поездок вернувшись домой,  
наслаждаюсь текущим из давности  
ароматом безмерно родной  
местечковой великодержавности.

Нам мечта – путеводная нить,  
мы в мечте обретаем отраду;  
чтоб мечту про Израиль хранить,  
уезжают евреи в Канаду.

Где нашу восхитительную прыть  
не держат на коротком поводке,  
там люди начинают говорить  
на местном, на еврейском языке.

Любому призыву и вызову  
до ночи доступен мой дом;  
благодаря телевизору  
все время я в стаде родном.

Всегда еврей – активный элемент  
везде, где сокрушают монументы;  
похоже, что еврей – инструмент,  
которым Бог вершит эксперименты.

Губительно и животворно  
в прямом и переносном смысле  
по всей земле возрастают зерна  
еврейских сеятелей мысли.

Заметно станет много позже  
по выпекаемому тесту,  
что все привезенные дрожжи  
здесь очень вовремя и к месту.

На тайный пир души моей  
сегодня трое званы снова:  
дух-россиянин, ум-еврей  
и память с мусором бывшего.

Теперь уже я спину как ни горби,  
мне уровень доступен лишь житейский;  
я русский филиал всемирной скорби  
постиг намного глубже, чем еврейский.

Когда-то всюду злаки зрели,  
славяне строили свой Рим,  
и древнерусские евреи  
писали летописи им.

Когда Россия дело зла  
забрала в собственные руки,  
то мысль евреев уползла  
в диван культуры и науки.

Напрасно те дали холодные  
евреи клянут и ругают,  
где русские песни народные  
другие евреи слагают.

Плюет на ухмылки, наветы и сплетни  
и пляшет душа под баян,  
и нет ничего для еврея заветней  
идеи единства славян.

Когда идет войною брат на брата  
и валится беда на человека,  
какая-то всегда здесь виновата  
еврейская идея древних греков.

Потом у России изменится нрав,  
он будет светлей и добрей,  
и станет виднее, насколько был прав

уехавший раньше еврей.

Век за веком в реках жизни мы тонули  
и в чужой переселялись огород;  
мы забывчивы ко злу не потому ли,  
что настолько мы рассеянный народ?

Повсюду, где превратности злосчастия  
насилуют историю страны,  
отсутствие еврейского участия  
евреев не спасает от вины.

И делаюсь, иллюзии развеяв,  
подобен я опасливому зверю,  
не веря никому, кроме евреев,  
которым я тем более не верю.

Обидно старому еврею,  
что врал себе же самому  
и слепо верил, что прозрею  
и Бога с возрастом пойму.

Не терся я у власти на виду  
и фунты не менял я на пиастры,  
а прятался в бумажном я саду,  
где вырастил цветы экклезиастры.

Еврей – не худшее создание  
меж Божьих творческих работ:  
он и загадка мироздания,  
и миф его, и анекдот.

Лишь там, куда я попаду,  
пойму, чего мы там достигли;  
уверен я, что и в аду  
мы вертим наши фигли-мигли.

## **Ни за какую в жизни мзду нельзя душе влезать в узду**

Как я живу легко и гармонично,  
как жизнь моя, о Господи, светла,  
обругана подонками публично  
и временем обобрана дотла.

Ни в чем на свете не уверен,  
живя со смутной все же верой,  
я потому высокомерен,

что мерю жизнь высокой мерой.

Характер мой – отменно голубиный,  
и ласточки в душе моей галдят,  
но дальше простираются глубины,  
где молча птеродактили сидят.

С Богом я общаюсь без нытья  
и не причиняя беспокойства:  
глупо на устройство бытия  
жаловаться автору устройства.

Сегодня жить совсем не скучно:  
повсюду пакость, гнусь и скверна,  
все объясняется научно,  
и нам не важно, что неверно.

Бог мало кого уберег или спас,  
Он копит архив наблюдений,  
в потоке веков изучая на нас  
пределы душевных падений.

Душа всегда у нас болит,  
пока она жива и зряча,  
и смех – целебный самый вид  
и сострадания, и плача.

Живу сызмальства и донныне  
я в убежденности спокойной,  
что в мире этом нет святыни,  
куска навоза недостойной.

Судьбы своей мы сами ткем ковер,  
испытывая робость и волнение;  
нам вынесен с рожденья приговор,  
а мы его приводим в исполнение.

Вся история нам говорит,  
что Господь неустанно творит:  
каждый год появляется гнида  
неизвестного ранее вида.

И думал я, пока дремал,  
что зря меня забота точит:  
мир так велик, а я так мал,  
и мир пускай живет как хочет.

Ангел в рай обещал мне талон,  
если б разум я в мире нашел;

я послал его на хуй, и он  
вмиг исчез – очевидно, пошел.

Причудлив духа стебель сорный,  
поскольку если настоящий,  
то бесполезный, беспризорный,  
бесцельный, дикий и пропащий.

На мир если смотреть совсем спокойно,  
то видишь в умягчающей усталости,  
что мало что проклятия достойно,  
но многое – сочувствия и жалости.

На путях неразумно окольных  
и далеких от подвигов бранных  
много странников подлинно вольных  
и на диво душевно сохранных.

Мы пленники общей и темной судьбы  
меж вихрей вселенской метели,  
и наши герои – всего лишь рабы  
у мифа, идеи и цели.

Когда внезапное течение  
тебя несет потоком пенным,  
то ясно чувствуешь свечение  
души, азартной к переменам.

А что как мысли и пророчества,  
прозрения, эксперименты  
и вообще все наше творчество —  
Святого Духа экскременты?

С укором, Господь, не смотри,  
что пью и по бабам шатаюсь:  
я все-таки, черт побери,  
Тебя обмануть не пытаюсь.

Из бездонного духовного колодца  
ангел дух душе вливает (каждой – ложка),  
и, естественно, кому-то достается  
этот дух уже с тухлятиной немножко.

Пустым горением охвачен,  
мелю я чушь со страстью пылкой;  
у Бога даже неудачи  
бывают с творческой жилкой.

Всего одно твержу я сыну:

какой ни сложится судьба,  
не гнуть ни голову, ни спину —  
моя главнейшая мольба.

Когда клубятся волны мрака  
и дух мой просит облегчения,  
я роюсь в книгах, как собака,  
ища траву для излечения.

На свете столько разных вероятностей,  
внезапных, как бандит из-за угла,  
что счастье – это сумма неприятностей,  
от коих нас судьба уберегла.

Душа моя, признаться если честно,  
черствеет очень быстро и легко,  
а черствому продукту, как известно,  
до плесени уже недалеко.

У душ (поскольку Божьи твари)  
есть духа внешние улики:  
у душ есть морды, рожи, хари  
и лица есть, а реже – лики.

Мне кажется порой, что Бог насмешлив,  
но только по своей небесной мерке,  
и каждый, кто избыточно успешлив,  
на самом деле – просто на проверке.

Подобно всем, духовно слеп  
в итоге воспитания,  
я нахожу на ощупь хлеб  
душевного питания.

Творец был мастером искусным —  
создал вино и нежных дам,  
но если Он способен к чувствам —  
то не завидует ли нам?

Я всюду вижу всякий раз  
души интимную подробность:  
то царство Божие, что в нас, —  
оно и есть к любви способность.

Во мне то булькает кипение,  
то прямо в порох брызжет искра;  
пошли мне, Господи, терпение,  
но только очень, очень быстро.

Тоской томится, как больной,  
наш бедный разум, понимая,  
что где-то за глухой стеной  
гуляет истина немая.

Мало что для меня несомненно  
в этой жизни хмельной и галдящей,  
только вера моя неизменна,  
но религии нет подходящей.

Мольбами воздух оглашая,  
мы столько их издали вместе,  
что к Богу очередь большая  
из только стонов лет на двести.

Душа моя безоблачно чиста,  
и крест согласен дальше я нести,  
но отдых от несения креста  
старюсь я со вкусом провести.

Надо пить и много и немного,  
надо и за кровные и даром,  
ибо очень ясно, что у Бога  
нам не пить амброзию с нектаром.

Чтоб нам в аду больней гореть,  
вдобавок бесы-истязатели  
заставят нас кино смотреть,  
на что мы жизни наши тратили.

Знать не зная спешки верхоглядства,  
чужд скоропалительным суждениям,  
Бог на наше суетное блядство  
смотрит с терпеливым снисхождением.

Мы славно пожили на свете,  
и наши труды не пропали,  
мы сами связали те сети,  
в которые сами попали.

Волшебно, как по счету раз-два-три  
и без прикосновенья чьих-то рук,  
едва мы изменяемся внутри,  
как мир весь изменяется вокруг.

Я праведностью, Господи, пылаю,  
я скоро тапки ангела обую,  
а ближнего жену хотя желаю,  
однако же заметь, что не люблюю.

Душою ощутив, как мир прекрасен,  
я думаю с обидой каждый раз:  
у Бога столько времени в запасе —  
чего ж Он так пожадничал на нас?

Нездешних ветров дуновение  
когда повеет к нам в окно,  
слова «остановись, мгновение»  
уже сказать нам не дано.

А вдруг устроена в природе  
совсем иная чередка,  
и не отсюда мы уходим,  
а возвращаемся туда?

Загадочность иного бытия  
томит меня, хоть я пока молчу,  
но если стану праведником я,  
то перевоплощаться не хочу.

Игра ума, фантом и призрак  
из мифотворческой лапши,  
душа болит – хороший признак  
сохранности моей души.

Твердо знал он, что нет никого  
за прозрачных небес колпаком,  
но вчера Бог окликнул его  
и негромко назвал мудаком.

Забавно, что словарь мой так убог,  
что я, как ни тасуй мою колоду,  
повсюду, где возникло слово «Бог»,  
вытаскиваю разум и свободу.

Напрасно ищет мысль печальная  
пружины, связи, основания:  
неразрешимость изначальная  
лежит в узлах существования.

Любую, разобраться если строго  
и в жизни современной, и в былой,  
идею о добре помять немного —  
и сразу пахнет серой и смолой.

Я спокойно растрочу года,  
что еще мне прожить суждено,  
ибо кто я, зачем и куда —

все равно мне понять не дано.

Для тяжелой тьмы судьбы грядущей  
лепя достойную натуру,  
Творец в раствор души растущей  
кладет стальную арматуру.

Меняется судьбы моей мерцание,  
в ней новая распахнута страница:  
участие сменив на созерцание,  
я к жизни стал терпимей относиться.

Я с радостью к роскошному обеду  
зову, чтобы обнять и обласкать  
того, кто справедливости победу  
в истории сумеет отыскать.

Увы, в обитель белых крыл  
мы зря с надеждой пялим лица:  
Бог, видя, что Он сотворил,  
ничуть не хочет нам явиться.

Мольба слетела с губ сама,  
и помоги, пока не поздно:  
не дай, Господь, сойти с ума  
и отнестись к Тебе серьезно.

Судьба, фортуна, фатум, рок —  
не знаю, кто над нами властен,  
а равнодушный к людям Бог —  
осведомлен и безучастен.

Создатель собирает аккуратно  
наш дух, как устаревшую валюту,  
и видимые солнечные пятна —  
те души, что вернулись к абсолюту.

Давай, Господь, поделим благодать:  
Ты веешь в небесах, я на ногах —  
давай я буду бедным помогать,  
а Ты пока заботься о деньгах.

Задумано в самом начале,  
чтоб мы веселились нечасто:  
душа наша – орган печали,  
а радости в ней – для контраста.

Да, Господи, вон черт нести устал  
со списками грехов мой чемодан,

да, я свой век беспечно просвистал,  
но Ты ведь умолчал, зачем он дан.

В моей душевной смуте утренней,  
в ее мучительной неясности  
таится признак некой внутренней  
с устройством жизни несогласности.

Творец забыл – и я виню  
Его за этот грех —  
внести в судьбы моей меню  
финансовый успех.

Пылал я страстью пламенной,  
встревал в междоусобие,  
сидел в темнице каменной —  
пошли, Господь, пособие!

В людях есть духовное несходство,  
явное для всех, кто разумеет:  
если в духе нету благородства,  
то не из души он тухло веет.

Я уже привык, что мир таков,  
тут любил недаром весь мой срок  
я свободу, смех и чудаков —  
лучшего Творец создать не мог.

В духовной жизни я такого  
наповидался по пути,  
что в реках духа мирового  
быть должен запах не ахти.

Хранителям устоев и традиций —  
конечно, если рвение не мнимое —  
нельзя ни мельтешить, ни суетиться,  
чтоб не компрометировать хранимое.

Давно пора устроить заповедники,  
а также резервации и гетто,  
где праведных учений проповедники  
друг друга обольют ручьями света.

Ханжа, святоша, лицемер —  
сидят под райскими дверями,  
имея вместо носа хер  
с двумя сопливыми ноздрями.

Большим идеям их гонители

и задуватели их пламени  
всегда полезней, чем ревнители  
и караульные при знамени.

Идея, когда образуется,  
должна через риск первопутка  
пройти испытание улицей —  
как песня, как девка, как шутка.

Мне кажется, что истое призвание,  
в котором Божьей искры есть частица,  
в себе несет заведомое знание  
назначенности в ней испепелиться.

Есть и в Божьем гневе благодать,  
ибо у судьбы в глухой опале  
многие певцы смогли создать  
лучшее, что в жизни накопали.

Не так баламутится грязь  
и легче справляться с тоской,  
когда в нашей луже карась  
поет о пучине морской.

В заботах праздных и беспечных  
высоким пламенем горя,  
лишь колыбель струн сердечных  
живет не всуе и не зря.

Я не знаю, не знаю, не знаю;  
мне бы столько же сил, как незнания;  
я в чернила перо окунаю  
ради полного в этом признания.

Что для нас – головоломка,  
духом тайны разум будит —  
очевидно, для потомка  
просто школьным курсом будет.

Провалы, постиженья и подлоги  
познания, текущего волнами, —  
отменное свидетельство о Боге,  
сочувственно смеющемся над нами.

Все звезды, может быть, гербы и свастики —  
всего лишь разновидности игрушек,  
лишь гусеницы мы и головастики  
для бабочек нездешних и лягушек.

Мне симпатична с неких пор  
одна утешная банальность:  
перо с чернильницей – прибор,  
которым трахают реальность.

Живя в доме своем уютно,  
я хоть и знаю, что снаружи  
все зыбко, пасмурно и смутно,  
но я не врач житейской стужи.

Я так привык уже к перу,  
что после смерти – верю в чудо —  
Творец позволит мне игру  
словосмесительного блюда.

Куда б от судьбы ни бежали —  
покуда душа не отозвана,  
мы темного текста скрижали  
читаем в себе неосознанно.

Работа наша и безделье,  
игра в борьбу добра со злом,  
застолье наше и постелье —  
одним повязаны узлом.

Чем век земной похож на мебель —  
совсем не сложная загадка:  
она участник многих ебель,  
но ей от этого не сладко.

Для плоти сладко утомление —  
любовь, азарт, борьба, вино;  
душе труднее утоление,  
но и блаженнее оно.

Много нашел я в осушенных чашах,  
бережно гущу храня:  
кроме здоровья и близостей наших,  
все остальное – херня.

Былые забыв похождения,  
я сделался снулым и вялым;  
пошли мне, Господь, убеждения,  
чтоб, мучаясь, я изменял им.

Великой творческой мистерией  
наш мир от гибели храним:  
дух – торжествует над материей,  
она – господствует над ним.

Вражда племен, держав и наций  
когда исчезнет на земле,  
то станут ангелы слоняться  
по остывающей золе.

Я не считал, пока играл, —  
оплатит жизнь моя  
и те долги, что я не брал,  
и те, что брал не я.

Хоть я постиг довольно много,  
но я не понял, почему  
чем дальше я бежал от Бога,  
тем ближе делался к Нему.

Спасибо Творцу, что такая  
дана мне возможность дышать,  
спасибо, что в силах пока я  
запреты Его нарушать.

Под шум и гомон пьянок сочных  
на краткий миг глаза закрыв,  
я слышу звон часов песочных  
и вижу времени разрыв.

Всем смертным за выслугу лет  
исправно дарует Творец  
далекий бесплатный билет,  
но жалко – в один лишь конец.

К Богу явлюсь я без ужаса,  
ибо не крал и не лгал,  
я только цепи супружества  
бабам нести помогал.

Свое оглядев бытие скоротечное,  
я понял, что скоро угасну,  
что сеял разумное, доброе, вечное  
я даже в себе понапрасну.

Спасибо за безумную эпоху,  
за место, где душа моя продрогла,  
за вечности ничтожную ту кроху,  
которой мне хватило так надолго.

Как одинокая перчатка,  
живу, покуда век идет,  
я в Божьем тексте – опечатка,

и скоро Он меня найдет.

## **На свете ничего нет постоянной превратностей, потерь и расставаний**

Еще нас ветер восхищает  
и море волнами кипит,  
и только парус ощущает,  
что мачта гнется и скрипит.

Давеча столкнулся я в упор  
с некоей мыслишкой интересной:  
в душах наших пламя и задор —  
связаны с упругостью телесной.

Уходит засидевшаяся гостья,  
а я держу пальто ей и киваю;  
у старости простые удовольствия,  
теперь я дам хотя бы одеваю.

Забавно в закатные годы  
мы видим, душе в утешение,  
свои возрастные невзгоды  
как мира вокруг ухудшение.

В толпе замшелых старичков  
уже по жизни я хромаю,  
еще я вижу без очков,  
но в них я лучше понимаю.

Совсем не зря нас так пугает  
с дыханьем жизни расставание:  
страх умереть нам помогает  
переживать существование.

Чтоб не торчали наши пробки  
в бутылках нового питья,  
выносит время нас за скобки  
текущих текстов бытия.

Не ошибок мне жаль и потерь,  
жаль короткое время земное:  
знал бы раньше, что знаю теперь,  
я теперь уже знал бы иное.

Люблю вечерний город – в нем  
отключено мое сознание

и светит праздничным огнем  
трагическое мироздание.

Еще одну вскрыл я среди  
дарованных свыше скорбей:  
практически жизнь позади,  
а жажда ничуть не слабей.

В одно и то же состояние  
душой повторно не войти,  
неодолимо расстояние  
уже прожитого пути.

Что в зеркале? Колтун волос,  
узоры тягот и томлений,  
две щелки глаз и вислый нос  
с чертами многих ущемлений.

Вот я получил еще одну  
весть, насколько время неотступно,  
хоть увидеть эту седину  
только для подруг моих доступно.

Мне гомон, гогот и галдеж —  
уже докучное соседство,  
поскольку это молодежь  
или впадающие в детство.

Непривычную чувствуя жалость,  
я вдруг понял, что как ни играй,  
а уже накопилась усталость  
и готова плеснуть через край.

Своя у старости стезя  
вдоль зимних сумерек унылых:  
то, что хотим, уже нельзя,  
а то, что лъзя, уже не в силах.

А в кино когда ебутся —  
хоть и понарошке, —  
на душе моей скребутся  
мартовские кошки.

Я по себе (других не спрашивал)  
постиг доподлинно и лично,  
что старость — факт сознания нашего,  
а все телесное — вторично.

Поездил я по разным странам,

печаль моя, как мир, стара:  
какой подлец везде над краном  
повесил зеркало с утра?

Зря, подруга, ты хлопчешь  
и меня собой тревожишь:  
старость – это когда хочешь  
ровно столько, сколько можешь.

Года меняют наше тело,  
его сберечь не удастся;  
что было гибким – затвердело,  
что было твердым – жалко гнется.

Смешон резвящийся старик,  
однако старческие шалости —  
лишь обращенный к Богу крик:  
нас рано звать, в нас нет усталости.

Я курю в полночной тишине,  
веет ветер мыслям в унисон;  
жизнь моя уже приснилась мне,  
вся уже почти, но длится сон.

Когда бессонна ночь немая,  
то лиц любимых вереница,  
мне про уход напоминая,  
по мутной памяти струится.

Я в фольклоре нашел вранье:  
нам пословицы нагло врут,  
будто годы берут свое...  
Это наше они берут!

Увы, но облик мой и вид  
при всей игре воображения  
уже не воодушевит  
девицу пылкого сложения.

Всегда бывает смерть отсрочена,  
хотя была уже на старте,  
когда душа сосредоточена  
на риске, страсти и азарте.

Очень жаль, что догорает сигарета  
и ее не остановишь, но зато  
хорошо, что было то и было это  
и что кончилось как это, так и то.

Уже куда пойти – большой вопрос,  
порядок наводить могу часами,  
с годами я привычками оброс,  
как бабушка – курчавыми усами.

Мои слабеющие руки  
с тоской в суставах ревматических  
теперь расстегивают брюки  
без даже мыслей романтических.

Даже в час, когда меркнут глаза  
перед тем, как укроемся глиной,  
лебединая песня козла  
остается такой же козлиной.

На склоне лет не вольные мы птицы,  
к семейным мы привязаны кроватям;  
здоровья нет, оно нам только снится,  
теперь его во снах мы пылко тратим.

Во сне все беды нипочем  
и далеко до расставания,  
из каждой клетки бьет ключом  
былой азарт существования.

Идея грустная и кроткая  
владеет всем моим умишком:  
не в том беда, что жизнь короткая,  
а что проходит быстро слишком.

Ровесники, пряча усталость,  
по жизни привычно бредут;  
уже в Зазеркалье собралось  
приятелей больше, чем тут.

Вы рядом – тела разрушение  
и вялой мысли дребезжание,  
поскольку формы ухудшение  
не улучшает содержание.

Вокруг лысеющих седин  
пространство жизни стало уже,  
а если лучше мы едим,  
то перевариваем – хуже.

Вдруг чувствует в возрасте зрелом  
душа, повидавшая виды,  
что мир уже в общем и целом  
пора понимать без обиды.

Где это слыхано, где это видано:  
денег и мудрости не накопив,  
я из мальчишки стал дед неожиданно,  
зрелую взрослость оплошно пропив.

Зачем вам, мадам, так сурово  
страдать на диете ученой?  
Не будет худая корова  
смотреться газелью точеной.

Спокойно и достойно старюсь я,  
печальников толпу не умножая;  
есть прелесть в увядании своя,  
но в молодости есть еще чужая.

Иные мы совсем на склоне дней:  
медлительней, печальней, терпеливей,  
однако же нисколько не умней,  
а только осторожней и блудливей.

Но кто осудит старика,  
если, спеша на сцену в зал,  
я вместо шейного платка  
чулок соседки повязал?

Прошел я жизни школьный курс,  
и вот, когда теперь  
едва постиг ученья вкус,  
пора идти за дверь.

С утра в постели сладко нежась,  
я вдруг подумываю вяло,  
что раньше утренняя свежесть  
меня иначе волновала.

С авоськой, грехами нагруженной,  
таясь, будто птица в кустах,  
душа – чтоб не быть обнаруженной —  
болит в очень разных местах.

Пора без жалких промедлений  
забыть лихие наслаждения;  
прощай, эпоха вожделений,  
и здравствуй, эра оскудения!

Чтобы от возраста не кисли мы  
и безмятежно плыли в вечность,  
нас осеняет легкомыслие

и возвращается беспечность.

Мир создан так однообразно,  
что жизни каждого и всякого  
хотя и складывались разное,  
а вычитались – одинаково.

Мы пережили тьму потерь  
в метаньях наших угорелых,  
но есть что вспомнить нам теперь  
под утро в доме престарелых.

Не любят грустных и седых  
одни лишь дуры и бездарности,  
а мы ведь лучше молодых —  
у нас есть чувство благодарности.

Я стал былых любвей бесплотным эхом,  
но слухам о себе я потокаю  
и пользуюсь у дам большим успехом,  
но пользы из него не извлекаю.

Ушли остатки юной резвости,  
но мне могилу рано рыть:  
вослед проворству зрелой трезвости  
приходит старческая прыть.

Я мысленно сказал себе: постой,  
ты стар уже, не рвись и не клубись —  
ты слышишь запах осени густой?  
И сам себе ответил: отъебись.

Еще наш закатный азарт не погас,  
еще мы не сдались годам,  
и глупо, что женщины смотрят на нас  
разумней, чем хочется нам.

Куда течет из года в год  
часов и дней сумятица?  
Наверх по склону – жизнь идет,  
а вниз по склону – катится.

Дряхлеет мой дружеский круг,  
любовных не слышится арий,  
а пышный розарий подруг —  
уже не цветник, а гербарий.

Туристов суетная страстность  
нам тонко всякий раз опять

напоминает про напрасность  
попыток жизнь успеть понять.

Кто придумал, что мир так жесток  
и безжалостно жизни движение?  
То порхали с цветка на цветок,  
то вот-вот и венков возложение.

От нас, когда недвижны и чисты,  
сойдем во тьму молчания отпетого,  
останутся лишь тексты и холсты,  
а после не останется и этого.

Мы зря и глупо тратим силы,  
кляня земную маету:  
по эту сторону могилы  
навряд ли хуже, чем по ту.

Мы начинаем уходить —  
не торопясь, по одному —  
туда, где мы не будем пить,  
что дико сердцу и уму.

Ничто уже не стоит наших слез,  
уже нас держит ангел на аркане,  
а близости сердец апофеоз —  
две челюсти всю ночь в одном стакане.

Исполнен упований возраст ранний,  
со временем смеркаются огни;  
беда не от избыточных желаний,  
беда, когда рассеялись они.

Нас маразм не обращает в идиотов,  
а в склерозе много радости для духа:  
каждый вечер – куча новых анекдотов,  
каждой ночью – незнакомая старуха.

Когда нас повезут на катафалке,  
незримые слезинки оботрут  
ромашки, хризантемы и фиалки  
и грустно свой продолжают нежный труд.

Когда все сбылось, утекло  
и мир понятен до предела,  
душе легко, светло, тепло;  
а тут как раз и вынос тела.

Те, кто на поминках шумно пьет,

праведней печальников на тризне:  
вольная душа, уйдя в полет,  
радуется звукам нашей жизни.

В конце земного срока своего,  
готов уже в последнюю дорогу,  
я счастлив, что не должен ничего,  
нигде и никому. И даже Богу.

Несхожие меня терзали страсти,  
кидая и в паденья, и в зенит,  
разодрана душа моя на части —  
но смерть ее опять соединит.

Взлетая к небесам неторопливо  
и высушив последнюю слезу,  
душа еще три дня следит ревниво,  
насколько мы печалимся внизу.

К любимым мы готовы потерям,  
терять же себя так нелепо,  
что мы в это слепо не верим  
почти до могильного склепа.

В местах не лучших скоро будем  
мы остужать земную страсть;  
не дай, Господь, хорошим людям  
совсем навек туда попасть.

В игре творил Господь миры,  
а в их числе – земной,  
где смерть – условие игры  
для входа в мир иной.

В период перевоплощения,  
к нему готовя дух заранее,  
в нас возникают ощущения,  
похожие на умирание.

Как будто не случилось ничего,  
течет вечерних рюмок эстафета,  
сегодня круг тесней на одного,  
а завтра возрастет нехватка эта.

О смерти если знать заранее,  
хотя бы знать за пару дней,  
то было б наше умирание  
разнообразней, но трудней.

На грани, у обрыва и предела,  
когда уже затих окрестный шум,  
когда уже душа почти взлетела —  
прощения у сердца просит ум.

Я послан жить был и пошел,  
чтоб нечто выяснить в итоге,  
и хоть уход мой предрешен,  
однако я еще в дороге.

Весь век я был занят заботой о плоти,  
а дух только что запоздало проснулся,  
и я ощущаю себя на излете —  
как пуля, которой Господь промахнулся.

*1995 год*

## Книга странствий

### Очень короткое, но нужное начало

Вообще говоря, я хотел назвать эту книжку скромно и неприязнательно – «Опыты». Но вовремя вспомнил, что такое название уже было. И начертано на трехтомнике Монтеня, стоящем у меня на полке. А еще мне было очень по душе название известной книжки философа Бердяева – «Самопознание». Но тут возникла закавыка несколько иная: у философа Бердяева явно имелось, что в себе познавать, а у меня? Я заглянул вовнутрь себя и молча вышел. Но от огорчения сообразил, что я ведь двигался по жизни, перемещаясь не только во времени, но и в пространстве. Странствуя по миру, я довольно много посмотрел – не менее, быть может, чем Дарвин, выдавший виды. Так и родилось название.

Внезапно очень захотелось написать что-нибудь вязкое, медлительное и раздумчивое, с настырной искренностью рассказать о своих мелких душевных шевелениях, вывернуть личность наизнанку и слегка ее проветрить. Ибо давно пора.

Мой путь по жизни приближается к концу. Душа моя чиста, как озеро, забытое прогрессом. Я эту мысль уже зарифмовал когда-то, у меня такой именно способ сохранять свои и чужие мысли. Я уже в возрасте, который в некрологах именуется цветущим. В такие годы пишут умные и серьезные книги, но я еще настолько не состарился. Хотя уже охотно ощущаю вечернее глотание лекарств как исполнение супружеского долга. Ну, словом – грех не занести на незащитную бумагу все мои от жизни легкомысленные впечатления. И выпивка, конечно, мне поможет. Многие пьют, чтобы забыться, а я – чтобы припомнить неслучившееся. Как говорил Экклезиаст (цитирую по памяти) – есть время таскать камни, а есть время пить пиво и рассказывать истории. Тем более, живу я в Израиле, где и без того достаточно камней, ибо каждый приехавший сюда скидывает камень с души. Это сказал, вернувшись из вавилонского плена, какой-то древний еврей своему столь же древнему собеседнику. Я этого, правда, нигде не читал, но, вероятно, тот древний еврей просто не записал свою мысль. И вообще, если вы в моей книге прочитаете: «как говорил Филоктет в беседе с Фукидидом» – не используйте эти слова в научных трудах, ибо летучие цитаты я обычно сочиняю сам. Однако же, я убежден, что ежели в ученой и серьезной книге вдруг написано, что Эмпедокл сказал нечто Филодендрону, – то и это чушь собачья, ибо это сотню лет спустя сочинил какой-то третий грек, чтоб именами усопших утвердить свою сомнительную правоту. У меня, кстати, в блокноте понаписано полным-полно различных мудрых мыслей, только возле каждой есть пометка, откуда она именно и чья. И мог бы я спокойно зачеркнуть эти пометки и начинить свою книгу мудрыми словами и идеями. Но я побаиваюсь подлинных чужих цитат, ибо опасно, если книга умнее автора. Кроме того, по-настоящему глубокие мысли всегда печальны и пессимистичны, а мне вовсе неохота утолщать жалобную книгу человечества. Хотя, с другой стороны, я где-то прочитал, что иметь на каждый случай подходящую цитату – это наилучший способ мыслить самостоятельно. Прямо не знаю, что лучше, – буду поступать по ситуации.

А вот действительно печальное в любых воспоминаниях – тот факт, что многое никак не выскажешь. Я вот о чем, я поясню это простым примером. Дочка моя Таня в возрасте лет четырех влюбилась в незамысловатую пластинку «Малютка-флейтист». Она слушала ее целыми днями – как только пластинка кончалась, она тут же ставила ее с начала и опять изнемогала от блаженства. Вскоре она выучила текст наизусть и занялась естественным детским террором: принялась ее пересказывать. Одной из первых жертв оказалась ее любимая

тетя Лола, сестра матери. С подъемом и волнением излагая текст, минуты через три вдруг маленькая Таня остановилась и как-то напряженно замолчала.

– Забыла? – участливо спросила тетя Лола.

Танька, не сказав ни слова, отрицательно покачала головой.

– Так что же ты молчишь? – обеспокоенно спросила тетя Лола.

– Здесь музыка, – объяснила ей Таня.

И я как раз об этом же: никак не перескажешь всю ту музыку, что звучала в наших душах в разные года по поводу тому или иному, а гораздо чаще – просто так. И мемуары это сильно обедняет. А ведь хочется – ох, хочется! – представить свою жизнь красиво. Нет, не приукрасить, не приврать, а именно представить. И мне снова много легче объясниться на примере или случае.

Мне рассказывал один художник, начинавший некогда в Одессе. Он сидел во дворе своего густо населенного дома и изо всех юных сил подражал художнику Полену – рисовал одесский дворик. Там висело на веревках разноцветное белье, и в том числе – исподнее, конечно, ему было весело и интересно среди этого пейзажа. Вышла ветхая старушка, повернула часть бельишка к солнцу непросохшей стороной и с недоумением спросила у юнца, зачем он это все рисует.

– Будет картина, – ответил он вежливо, – повезу ее на выставку в Москву.

Старушка покачала головой и удалилась. Через минут десять она снова вышла и зала-танные старые подштанники, что сохли на веревке, заменила новыми и целыми.

– Если в Москву, – сказала она художнику, – пусть лучше будут эти.

Как раз об этом я и говорю.

К несомненным достоинствам моей книги следует отнести тот факт, что ее можно читать, начав с любого места и не подряд. Включая, разумеется, возможность не читать ее совсем. Но если все-таки вы станете ее листать (довольно частая ошибка у любителей воспоминаний), то наверняка наткнетесь на места, где с автором категорически не согласитесь. И закипят у вас разнообразнейшие возражения. Так вот, имейте в виду, что я заранее согласен с каждым вашим аргументом. Хотя согласие мое такого будет типа, как в истории, которую я некогда услышал.

У нас тут жили в Иерусалиме два пожилых плотника – Яков и Федор, еврей и русский. Они давно дружили, за работой предавались шумным философским спорам, будучи попеременно правы и не правы, только Яков обожал, чтобы за ним оставалось последнее слово. И однажды на какой-то довод Федора ему Яков сказал:

– Ты, Федя, рассуждаешь прямо как еврей. Ты, может быть, и есть еврей?

– Ты что? – обидевшись, ответил Федор. – Ты не знаешь, что ли? Хочешь, я тебе сейчас докажу?

– Да я твое доказательство вчера под душем видел, – досадливо отмахнулся Яков. Но Федор в полемическом задоре вынул все-таки и предъявил свое доказательство.

– Да, ты не еврей, – задумчиво согласился Яков, лихорадочно соображая, что все-таки не за ним остается последнее слово. И язвительно добавил: – Но и это – не хуй!

Все мемуары пишутся еще и для того, чтоб неназойливо и мельком похвалиться и похвастаться. А у меня для этого хранится в памяти (и там пребудет вечно) удивительный житейский эпизод.

Пять лет назад я получил на свое шестидесятилетие уникальный по душевной ценности подарок. Для того, чтоб рассказать о нем точнее, я отступлю от юбилея на полгода назад. Я получил тогда из Нью-Йорка от своего друга Юлия Китаевича довольно странное письмо. Он собирался торговать с Россией всяческой медицинской аппаратурой и просил меня прислать ему список людей (в Америке, в Германии, в Израиле, в России), с которыми я был настолько близок и которым я настолько доверял, что Юлик мог спокойно обратиться

к ним за разными наводками на сведущих людей и вообще с некими вопросами. Я пожал плечами, смысла обращения не понимая, но немедленно составил такой список. Он оказался довольно обширен – помню, как я хмыкнул не без удовольствия, как много у меня по свету развелось за жизнь приятелей. И Юлий всем им позвонил. Но вовсе не с той целью, о которой говорилось мне. Он предложил им скинуться по сотне долларов, чтоб к юбилею изготовить мне некий поразительный подарок. И никто из них не отказался. В день юбилея я получил отменно изданный сборник своих стихов, который никогда не составлял. Он явился в свет «без посредством отца», как говорили некогда в Одессе. Его составили Саша Окунь и Дина Рубина. А все стихи перепечатывала (у меня под носом, на моем компьютере, мне только стоило уйти) моя жена Тата. Вообще об этом знали человек, наверно, двести, и ни один не проболтался! Для интеллигентов это крайне редкое явление. Полным идиотом в этой ситуации был только я, ни разу ничего не заподозрив за полгода. Более того: за месяц до юбилея я пришел в любимый всеми нами ресторан «Кенгуру», и владелица ресторана Лина спокойно обсудила со мной меню на тридцать человек (на больше не было финансов), мне ни слова не сказав о том, что ужин ей уже заказан – и не на тридцать, а на сто двадцать человек – от собранного оставались деньги. Тата стала волноваться только за день приблизительно – все спрашивала у меня, не склонен ли я к инфаркту от различных неожиданностей жизни. Я, тупица толстокожий, ухмылялся, ничего не понимая. Возле самой двери в ресторан мне Тата вдруг заботливо сказала – «ты держись», но я и это понял как ее всегдашнюю боязнь, что я наговорю различных глупостей. И тут я все увидел. Ибо все уже сидели чинно за столами, а посреди зала огромной и прекрасной грудой возлежал тысячный тираж впервые мной увиденного сборника «Открытый текст». Он издан был со вкусом и размахом. А те, кто скидывался, – каждый получил номерной экземпляр в роскошной обложке из холстины. Мне такой достался тоже. Нет, я не расплакался при входе, удержался, я заплакал чуть попозже, уже выпив и пытаясь что-то благодарственное несвязно лепетнуть. Я, наверно, что-нибудь высокое хотел сказать – об уникальности такого дара дружбы и о безмерной благодарности моей, но так как я к высоким изъяснениям не приспособлен, то мой чуткий организм – чтоб выручить меня – и заменил слова слезами.

И еще одна короткая история, пригодная для праведного хвастовства. Совсем недавно в Бутырской тюрьме состоялось уникальное для заведений такого рода мероприятие: выставка московских художников. Они развесили свои работы в большом зале, и экам эта выставка будет доступна. Накануне открытия художник Боря Жутовский спросил у начальника тюрьмы, может ли прийти на нее Игорь Губерман – сейчас он тут в Москве, но у него израильский паспорт. И начальник тюрьмы ему ответил незамедлительно и кратко:

– Губермана я сюда пушу по любому паспорту и на любой срок!

Хорошо, если книжки начинаются одинаково, подумал я, тогда немедля видно, что писал один и тот же автор. По глубине этой догадки легко понять, что я уже немного выпил и теперь был склонен размышлять о книге моих странствий. И в пространстве, и во времени, разумеется. Что наша жизнь, как не дорога? Да еще с заездами в различные отменные места. Ибо любая заграница интересна своими иностранцами, подумал я и записал эту удавшуюся мысль. А так как предыдущая моя книжка воспоминаний где-то в самом начале повествовала о выпивке по пути в Америку, то вот сейчас, летя в Австралию, мне стоило подробно описать одиннадцать часов тоски по сигарете. Пожалуй, ситуация сейчас была потяжелее, чем в лагере – там не хватало табака, а здесь его полно было со мной, но было негде. Попирались на глазах моих святые человеческие права, но борцов за них пока что не нашлось. Да, мы курящее меньшинство, но сексуальное такое же давным-давно уже боролось за свои права! Так почему же нам, подобно гомосекам и лесбиянкам, не выйти на улицы городов с протестом против ущемления? Жизнь в самолете обещала быть тяжелой по еще одной причине: стюардесса (из Малайзии или Филиппин, если это не одно и то же) явно

была фраппирована (если я верно понимаю это слово) моим непрерывным выпиванием, ее это чем-то задевало. Она наливала мне с потухшим взглядом и со скорбно сжатыми губами. Только я ничем не мог помочь ей, видит Бог. А то, чем я бы мог ей помочь, она отвергла бы с негодованием, ибо, по сухости фигуры судя и по общей грустности лица, была из этих (не люблю даже названия), отъявленных от собственной обездоленности. Такими пополняются международные террористические группы, подумал я. А может, так оно и есть? Я присмотрелся к ней внимательней и убедился в точности догадки. Взгляд мой оценив неверно, но правильно, она молча налила мне виски. И внезапно улыбнулась, так похорошев и помягчев, что я почувствовал себя мерзавцем и еще острее захотел курить. А за окошком самолета протекала невообразимая красота: по ровной синеве величественно плыли белые льдины, острова, торосы, снежные холмы и просто ледяные завихрения. Красота дороже денег, подумал я, но деньги нам нужней. И вдруг мне стало ясно, что природа воздушной и водяной стихии имеет нечто общее между собой. Научность этой мысли потрясла меня. Я вообще ужасно мало, плохо и дремуче образован. Много лет я собирался как-нибудь при случае свой уровень повысить, но потом одну ужасную историю услышал и раздумал. Дальний родственник моей жены Таты, приняв пагубное решение образоваться, кинулся на старости лет читать энциклопедию. И что вы думаете? Умер на букве «в». Про это помня, я остался темен и дремуч. Поэтому и приходящие мне в голову идеи об устройстве мироздания всегда меня волнуют своей свежестью.

А так как единственное, что может сравниться по глубине и размаху с моим невежеством, – это мое доброжелательство к окружающей среде, я от нахлынувших высоких чувств чокнулся своим виски с соседом-англичанином, сосавшим из соломинки томатный сок. Он дико возбудился, полагая, что разрушено и попрано его многолетнее одиночество внутри занудной собственной натуры. И заговорил, бедняга, на присутщем ему безупречном английском, не понимая, что каждым звуком своей родной речи он невозвратно разрушает нашу только что проклюнувшуюся близость, ибо языков не знал я и не знаю никаких. А если бы и знал, то хер бы стал я тратить на пустые разговоры время размышлений о родстве стихий. Тут я случайно выпил белого сухого – просто рядом наливали именно его, и мне так понравилось, что я немедленно повторил. Я выпил бы еще, но коляска уже чуть отъехала, и я решил записать часть своих мыслей.

Увидав, что я еще и пишу, англичанин просто охуел. Ни слова не произнося, он долго на меня смотрел, в душе себя коря, конечно, за нарушение пресловутой английской корректности. Он, видимо, хотел меня узнать – а вдруг я кто-то? Но, не опознав, сообразил, что и Шекспира знали в лицо немногие его современники, утешился и засопел, причмокивая.

А я уснуть не мог. По двум причинам сразу. А точнее – по трем, но надо по порядку. Я вдруг вспомнил, как летел куда-то, и под самолетом расстились не плавные снежные и ледяные поля, а вовсе наоборот – немыслимо курчавые и завитые. Словно огромного размера белый баран проглотил наш земной шар, и только некоторых за умеренную плату выпускает полетать вокруг него. И я был очень рад, что это вспомнил, потому что твердо знал: уж если взялся я писать, то должен мыслить образами, где-то я это читал. А тут отменный образ появился сам, и я неслышно ликовав. Коляска с выпивкой еще не ехала – это и было второй причиной моей творческой бессонницы. А третья состояла в том, что впереди неподалеку распустился белый экран, и стали нам показывать кино. Я сразу же хочу предупредить, что я от этого кино так получал душой, так вырос нравственно, что не могу его не рассказать. Я звук не слышал, ибо надевать наушники бессмысленно мне было, я ведь все равно не понимаю иностранной речи, так что мной рассказанное может со сценарием совсем не совпадать. Но что из этого? Ведь если бы я понимал, тогда сюжет владел бы мной, а так – я полностью владел сюжетом, и как раз поэтому возвысился душой.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.